

Юлия Бекенская

Тавань



Юлия Бекенская

Гавань

«Издательские решения»

Бекенская Ю.

Гавань / Ю. Бекенская — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-969643-4

Не желайте странного. Странное может пожелать вас. Серебряный век и лихие девяностые. Белые ночи в городе, где сломано время. Под мелкой водой Маркизовой лужи прячется бездна, но ее никто не замечает: медиумы и гимназистки, братки и фотографы, рыбаки и художники — все заняты своим делом. На излете двух весен их затащит водоворотом событий — ведь время чинит себя само. Но запчасти в этом случае — люди. Баржа в Пьяной гавани — прибежище тех, кому терять нечего. Welcome to the hotel «Пингвин»!

ISBN 978-5-44-969643-4

© Бекенская Ю.
© Издательские решения

Содержание

ПРОЛОГ	6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	9
История и фортуна	9
Кара небесная	15
Еленино яблоко	22
Филармония и бухгалтерия	30
Норочка	37
Отель «Пингвин»	43
Тая	48
Гегемон и кролик	56
Потерянное время	60
Прикладная ботаника	65
Женихи и опалы	72
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Гавань

Юлия Бекенская

Автор обложки Гудик Татьяна

© Юлия Бекенская, 2019

ISBN 978-5-4496-9643-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПРОЛОГ

Питер, девяностые, осень

С оглушительным плеском шел под воду грузовичок. Промозглой ночью, при свете фар, под нежную музыку группы АББА.

В кузове, рыбам на радость, лежал первый груз. А в кабине – несчастный водила.

Жизнь, никчемная, как рухлядь в багажнике, необъезженная, как верный рафик, уходила на дно.

Ледяная муть хлынула в окна. Связанный замычал, извиваясь на водительском кресле.

Ручка двери...

Двое с причала наблюдали, как вода сомкнулась над крышей кабины. Рядом стоял бульдозер – удобная штука, если нужно что-то куда-то столкнуть.

Между тополей призывно светился фарами джип.

– Тачку жалко, – заметил лобастый, с кроличьей верхней губой, крепыш. – Слышь, Ярый. А неглубоко тут. Не выплывет?

– А это, Миха, – собеседник наставительно поднял указательный палец, – не так уж и важно. Это пе-да-го-ги-ка! Я еще экскурсии сюда водить буду...

Они зашагали с причала прочь.

– The winner takes it all, – летел из темноты сладкий голос.

Если бы они знали, цепочку каких событий запускают, то конечно, никуда бы не ушли.

А немедленно ринулись в воду, чтобы собрать всплывший из кузова хлам: кастрюли, стулья, коробки, мощной лебедкой поднять на поверхность машину, поцеловать водителя в лоб на прощанье и отпустить.

Но они не знали.

Ринат тоже не знал. Он привалился спиной к дверце и скреб ручку.

Еще немного... но воздуха уже не хватило.

Он вдруг почувствовал леденеющим телом дрожание вод и тихий, согревающий свет. Ясно увидел приборную доску и четки из янтаря на стекле.

Услышал пение – на странном, незнакомом языке.

Если бы двое в машине прислушались, тоже услышали бы. Но АББА пела о победителе, который получит все...

Водитель еще успел потянуться к свету, к голосу, но была ли то явь или прощальный привет погибающего тела, понять не смог.

Его глаза смотрели в мутную глубину.

Они не видели, как кто-то, пробудившись от почти векового сна, слепо шарит перед собой и прислушивается.

Как медленно, томно, спросонья, открывая забытые органы чувств – слух и зрение, и тихие незнакомые мысли, приближается, смотрит в кабину...

То, что проснулось, ведет с собой разговор, прислушиваясь, вспоминая, как это – слышать и вспоминать.

Ринат обмяк на сиденье и уже не почувствовал, как разбилось стекло, открылась дверца машины, опали веревки, и тело его устремилось вверх.

Джип, развернувшись, чиркнул светом причал.

Пассажиры не заметили кругов на воде.

Автомобиль заголосил на прощанье и умчался в город.

Молчала ночь.

Человек лежал на песке.

Молчала Пьяная гавань.

Пустыня Эль-Джафура

В полдень стороны света исчезают.

Исчезает и время: медленно текущее меж барханов, в полдень останавливается совсем. Остается маленькое злое солнце. И песок, вокруг и внутри: в выжженных зноем глазах, под бурнусом, во рту.

Верблюду плевать на стороны света. Он знает, куда идти – по невидимой тропе, что тянется меж барханами, изо дня в день, из ночи в ночь.

Полдень длится. Направления нет. Кажется, они сбились с пути. Но верблюду виднее – плывет через полдень. Сохнут губы. Иншаллах, доберутся до места.

За барханом поднимается пыль. Из нее вырастают стены синего камня, тонкие башни и острые крыши; выгибают спины мосты. Ноздри щекочет запах – пряный дух незнакомой влажной земли. Клубится туман, сползая со стен, скручивает в труху остатки ила.

Мираж. Иншаллах.

Верблюд упрямо бредет. Город манит и отходит. Теперь он за новым барханом. Но струйка прохлады льется сквозь марево. Верблюд чувствует ветер и двигается туда.

Нельзя гнаться за миражом. Но они переваливают через бархан.

Город исчез. Но кое-что осталось: чахлый куст, три зеленых листа, машаллах! Под ними сверкает алмаз. Вода! Хриплый крик из засохшей глотки.

Верблюд пьет, окунув мохнатые губы в источник. В круглой промоине на дне мелкие камни. Синие, как город-мираж.

Он ждет. Сначала – верблюд. Так положено.

Теперь сам. Припадает губами.

Глоток – и отпрянул. Горькая, дурная вода. Привкус соли во рту.

Зачерпнул воды, омыл лицо. Соль коркой стянула кожу. Еще. Четки, намотанные на запястье, зацепились за что-то на дне.

Верблюд нетерпеливо тянет к воде морду. Уступил ему место с досадой. Воды с каждой минутой меньше – уходит в песок.

Подсунул руки под верблюжьи губы, зарылся, почувствовал в ладонях гладкую тяжесть.

Золотой мокрый диск.

Ослепленный, глядит на сокровище. Неизвестные символы, тонкой ажурной чеканки круги, дрожащая стрелка.

Глянул вниз. Нет воды, как не было. Лишь песок. Но руки мокры, соль на лице. И довольная морда верблюда.

Торопливо спрятал добычу в мешок. Снова в путь. Мираж или явь?

Аллаху виднее.

Санкт-Петербург, 1907 год, весна

Городок с синими черепичными крышами и шпилями башен. Бухта с лазурным морем, над ней – дрожащий солнечный диск цвета индиго.

Камешек в детской руке поворачивается, картинка меняется.

Если смотреть на море, вместо старых баркасов увидишь парусники с тонкими мачтами.

Повернешься к бухте спиной – вместо бурьяна и рыбацких сетей увидишь набережную и торговцев с корзинами, в которых спят диковинные пучеглазые рыбы.

А вместо тропинки сквозь ивы, ведущей к дому, пусть будет красивый каменный спуск, по которому гуляют дамы и кавалеры.

Синий камушек в детской руке...

Да-да, Тая знает, что янтарь не бывает синим.

И что дивного города нет, а есть Пьяная гавань, где на рейде качаются чужие баркасы. Тут много таких.

Но, если хочешь увидеть чудо, кто может тебе помешать?

Синий янтарь подмигивает солнечным бликом.

...В каюте тесно. Смуглый человек, раздетый по пояс, пьет тепловатую воду. Он прибыл из жарких стран, но северная духота невыносима. Он смотрит на камень, похожий на синий янтарь, и прячет поделку поглубже в мешок, пока кто-нибудь не зацепил жадным глазом.

Перед тем, как пропасть, камень пускает блик за иллюминатор, к маленькому, как полушка, северному солнцу.

Солнце ловит привет и несет его дальше, играя барашками в Маркизовой луже, причесывая метелки травы, торит тропинку из гавани прочь, в сторону улицы Благовещенской.

Солнечные зайцы скачут по окнам. Один, неосторожный, прыгает в хрустальный шар, лежащий на подоконнике.

Хозяйка, стоящая у окна, прикрывает глаза. Под веками свет, секундное головокружение.

Предчувствие – что-то грядет. Трет виски, наваждение исчезает. В приемной – клиент, а значит, дело не ждет, божечки, опять работать...

Перед тем как спрятаться за облака, солнце успевает залить мягким светом утопанный двор, мазнуть ласковой кистью по носам и щечкам воспитанниц в белых пелеринах, и – прощальная шалость – забраться под очки мадам директрисы.

Директриса щурится, сжимает губы, и пристыженное солнце исчезает за облаками.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

*Вода в реке журчит, прохладна,
И тень от гор ложится в поле,
и гаснет в небе свет. И птицы
уже летают в сновиденьях.
А дворник с черными усами
стоит всю ночь под воротами,
и чешет грязными руками
под грязной шапкой свой затылок.
И в окнах слышен крик веселый
и топот ног, и звон бутылок.*

Даниил Хармс

*Корабль уродов, где твой штурвал и снасть,
Я так боюсь упасть в морскую воду.*

Борис Гребенищikov

История и фортуна

Санкт-Петербург, 1907 год, весна

По двору гимназии, высоко подбрасывая колени, спешил историк Данила Андреевич. Под любопытными взглядами воспитанниц переходил с неприличной рысцы на шаг, но и эта походка не добавляла ему благонравия. Даже сюртук надеть позабыл – манишка под суконным жилетом сбилась на бок.

Директриса поджала губы.

Страус облезлый, а не педагог. И эта его борода...

Целый учебный год, собрав в кулак всю кротость, мадам Вагнер наблюдала, как бакенбарды историка робко, словно молодые побеги, тянутся по угреватым щекам в тщетной надежде сомкнуться с курчавым кустом на подбородке. И чем дальше, тем больше историк напоминал ей шарж на великого поэта.

Учебный год почти кончился, а он все еще ходил в новичках. Не проявлял должного рвения на собраниях. Блеял козлом на молебнах.

Конечно, воспитанницы вьют из него веревки.

Директриса вздохнула. Наказание, а не педагог.

Женская гимназия мадам Вагнер в начале Благовещенской улицы была единственным розовым зданием в округе, и взгляд на нежно-зефирную штукатурку заставлял мадам морщиться.

Недовольство преобладало на ее восковом лице, таилось в опущенных углах темных губ, и на лбу – в обширных продольных морщинах.

Несмываемый розовый позор вместо заказанного бежевого цвета. Было от чего заболеть мигренью.

Изысканный, скромный беж по милости подрядчика превратился в поросычье недоразумение, которое Цирцелия Францевна ненавидела всей душой.

Когда после ремонта сняли леса, было поздно. Целый год в этом бисквитном торте обитала гимназия. «Полный научный курс, языки, рисование, изящные рукоделия и танцы», как сказано в справочнике «Державный Петербург», по 30 копеек за штуку.

И – злая шутка судьбы! раздел «Объявления» с рекламой гимназии также расположился на розовой вкладке, в соседстве с духами «Зимняя флора», страхованием стекол от всякого сорта излома и разбития и лесоустроительным бюро коллежского советника Малевича.

Сухие пальцы Цирцелии Францевны скрутили в трубку упругую книжицу и сжались добела. На горле издателя Игнатова. На невытом кадыке подрядчика Штуца. На тонких шеях бестолковых воспитанниц.

Подрядчики... вот уже и камень облицовки у фундамента отвалился. Зияет дыра. Дать нагоняй дворнику, чтобы заделал.

Она отложила справочник на перила.

Как капитан на мостике корабля, мадам несла вахту на крыльце гимназии. После затхлости коридоров в теплом, напоенном черемухой воздухе ей было душно.

Во дворе под липами гимназистки в коричневых платьях гуляли попарно и в одиночку, собирались кружками и тихонько беседовали.

Стоило ей выйти – учениц с крыльца как ветром сдуло.

Простая тетрадка и крошечный карандаш в кармане серого платья пугали девиц, особенно младших, до обморока.

Да и сама мадам, высохшая, с гладко зачесанными, подсоленными временем волосами, внушала почтение и трепет.

Сейчас воспитанницы делали вид, что повторяют урок, а кое-кто рассматривал пичуг, чирикавших в обильных кустах, радуясь солнцу и грядущему лету и чихавших с высокой ветки на все экзамены.

– Зефир!.. – донеслось от ворот вместе с россыпью девичьих смешков.

Зефир мадам директриса не выносила. Здоровье не позволяло ей предаваться чревоугодию. К тому же, вид этой сласти напоминал о цвете гимназии.

И вот теперь зефир, восторженный девичий писк и чей-то гудящий бас возмутили спокойствие большой перемены.

Историк вздрогнул и опять перешел на рысь. Без сомнений, спешил он в центр безобразия.

Молодость ему не шла. Возможно, с годами появится стать и почтенность, а главное – железная воля, без которой в гимназии делать нечего.

Дисциплина – вот что не давало кораблю мадам директрисы сгинуть в пучине хаоса. Все беды идут от расхлябанности и безделья, как она сегодня и сказала этому, прости господи, педагогу.

Корабль гимназии вела Цирцелия Францевна железной рукой. И готова была выбрасывать за борт тех, кто вял и беспомощен, но... как же трудно найти нового преподавателя в «зефирный дом». И как много бы мадам отдала, чтобы узнать шутника, пустившего в ход это название!

Черемуха скрыла историка из виду.

У ворот звенели смешки. Там творилось нечто предосудительное.

Она величественно спустилась с крыльца. Гимназистки тут же уткнулись в учебники.

В тот же миг серая тень бесшумно рухнула с дерева, в прыжке взлетела на крыльцо и притаилась.

За перилами мелькнула чумазая физиономия. Юркая рука цапнула забытый путеводитель, резво шмыгнула с крыльца и вмиг исчезла в кустах.

Никто не заметил – гимназистки старательно готовились к уроку.

Мадам директриса плыла через двор.

Беспорядок надлежало пресечь.

Данила Андреевич в чудеса не верил. А в злой рок поверить пришлось, как только увидел визитера: стоит у ворот, угощает гимназисток зефиром и топорщит тараканьи усы.

Немедленно увести, пока не нагрязнула старуха, не увидела эту румяную морду, не...

– Все такой же! – завопил Жорка Трубицын. – Очечки, волосики... Унылый профиль, печальный фас, забо... гм, пардон, барышни... тру-ля-ля-ля, кто тут у нас? Цапель! Голова ты с ушами, нисколько не изменился!..

Что тебе, жук, от меня надо, тоскливо подумал Данила.

Цапель!

Тоненькое девичье хихиканье подсказало, что кличка достигла нужных ушей. А кто не расслышал – тому расскажут, не извольте сомневаться.

Данилу сгребли в объятия – аж ребра хрустнули. Троекратно расцеловали, обдав сложной смесью табака, одеколона и... воска? Подняли, встряхнули, сбив набок очки, и поставили на место.

– Здравствуй, Жорж, – сказал Данила, утопая ладонью в широкой лапе.

– А я, понимаешь, из Парижа – и сразу к тебе. Как, думаю, тут брат Цапель?..

Из Парижа? Ох, и горазд Жоржик врать. Впрочем, с однокашниками он давненько не виделся. Разузнать у балабола, где служит? Может, и Даниле местечко найдется? Но после. Сейчас главное – увести, пока карга не нагрязнула.

– Бросай-ка ты, брат, свой розарий, – сказал Жорж. – Веди домой! Знакомь с детишками! Небось, уже папаша? Еленушка-то все цветет?.. У меня тут! – Трубицын потряс коробкой в изящно повязанных лентах.

Тишина загустела – хоть ножом ее режь.

Данила почуял, как расправляются розовые ушки, чтоб не упустить ни единого слова.

– Детишками не обзавелся, – выдавил он. – А с Еленой... тут в двух словах не расскажешь.

Общий, пропахший карамельками, выдох.

Погиб Данила. Девицы выжмут из этого все.

– А... – на секунду глаза Трубицына остекленели, но тут же, будто перетасовав прикуп, он улыбнулся:

– Так это ж совсем другое дело!.. Собирайся, брат. И барышни, – легкий поклон в сторону гимназисток, – от тебя отдохнут. Совсем их извел – смотреть больно, как очаровательные розы сохнут в твоём обществе.

Смешки.

– Видишь, ли, Жорж, рад бы, да не могу. Провожу тебя, тогда и поговорим. Дела...

– Дела подождут! – заорал Жорж, – не так ли, сударыни?..

Восторженный писк. Зардевшиеся щечки. Чертов фат!

Данила замялся. Как же выпихнуть тебя? Увести, пока старуха...

Поздно.

Тихий горячечный шепоток. Хруст накрахмаленных пелерин.

Гимназистки отодвинулись, сливаясь с кустами черемухи, и сенсация – роковая тайна учителя и миленький гость с зефиром – тоже уменьшилась, отошла в тень.

Повеяло холодом.

Приближалась мадам директриса.

От ее шагов соляными столбами застывали фигуры гимназисток. Покрывался инеем утопанный башмачками двор, а пичуги, замерзая на лету, хлопались оземь и разбивали в осколки безмозглые тельца.

– Господа? – голос, дребезжащий, как флашток на ветру.

– Цирцелия Францевна, – вытягиваясь и презирая себя, пролепетал Данила, – разрешите представить...

– Мадам, – шелкнули каблуки, – Георгий Трубицын, к вашим услугам!

Ледяное молчание. Поджатые губы.

Данила поежился. Солнце больше не грело, и запах черемухи куда-то исчез – пахло персидским порошком, которым по наущению мадам истребляли тараканов, забредших в гимназию.

Цирцелия изучала гостя. За могучими плечами Жоржа теснились воспитанницы. Живописная группа – сатир в сонме нимф.

– Позвольте, – каркнула старуха, но Трубицын ее перебил:

– О, нет, мадам, – позвольте мне!..

Данила перестал дышать.

– От всего сердца, от имени нашего выпуска, – начал Трубицын.

– Сударь! – возмутилась старуха.

– Сударыня! – повысил голос Трубицын, и, не давая директрисе опомниться, вручил розовую коробку, перевязанную пошлейшим бантом.

Данила мысленно застонал. Что было в коробке, значения не имело. Только бы не подвязки, взмолился он, не зефир, не...

– От всего сердца, с наилучшими пожеланиями! Мы, бывшие школяры, с почтением, – баритон Трубицына обволакивал, гипнотизировал, как дудочка бродячего факира – гюрзу, – с безмерным уважением взираем на вас, тех, кто держит на своих плечах будущее юных, неискушенных...

Трубицын вещал. Кобра глядела, не мигая, и чуть покачивалась.

Из гавани пахло морем. Порыв ветра растрепал бант на груди директрисы.

И тут случилось чудо.

То самое, молва о котором долго будет передаваться из уст в уста.

Послышался хруст – то карга склонила голову в легком поклоне. А после...

Сухая корка старухиных щек отмякла, уголки губ дрогнули и приподнялись на самую малость.

– Благодарю, – каркнула Цирцелия, – рада знакомству. Весьма.

Для старой ведьмы то было равносильно объятиям.

Жук этот Жорж! Дай ему полчаса, глядишь, и карга пригласит его в святая святых, в кабинет – поговорить о юных неискушенных особах.

– Мадам, – поклонился Трубицын, – у меня к вам просьба. Буквально, малосенькая. Позвольте мне похитить вашего педагога...

Данила Андреевич понял, что обречен.

Дальше все понеслось вскачь. И в упоительном аллюре стихийного бедствия Даниле ничего не осталось, как покориться.

Триумфальный уход из гимназии. Благословление директрисы, вздохи и пищащие носики с одной стороны. Сдержанное сияние, твердость скул и уверения в глубочайшем почтении – с другой.

Признав Жорку неизбежным злом, он бормотал про себя:

– Это пройдет. Этот день надо просто пе-ре-жить...

Заодно выспросить болтуна, где служит. Жоржика хлебом не корми – дай повитийствовать, а уж Данила направит поток в нужное русло.

Извозчик. Скрипучее, до белизны протертое сиденье, кляча в коровьих пятнах. Стальные обода – тряско, зато свободно, не то что в омнибусе.

Трубицын, закинув руки за голову, скучливо озирает ландшафт.

Дома, тополя. Булочная, зеленая лавка. Вывески. «Кладовая галантерейных товаров: перчаток, галстуков и чулочного товара Г. Я. Земш». Синим на черном фоне: «Элеонора Руль», ниже – витиеватое «М» в резном круге. Что сие означает: модистка?..

– Провинциальненько тут у тебя. И до залива рукой подать. Прокатимся?..

– Худшее место для прогулок. В народе зовут Пьяной Гаванью. Рыбацкое отребье, кабаки, суда в карантине...

– Эх, как звучит! А ты все такой же зануда, – тычок в бок, – но с Еленушкой-то чего тянешь? Не зевай, брат! Я думал, вы уже с ней того... неужто и до помолвки дело не дошло?..

Данила стиснул зубы. Говорить о любви с Трубицыным? Лучше уж сразу расклеить афиши по городу. И для верности давать объявления на Николаевском вокзале – каждый час, перед отбытием поезда.

Но неожиданно для себя выдал то, что давно не давало покоя:

– Знаешь, Жорж... многое можно простить... но не все. Есть вещи... которые я не могу принять. Мой разум бунтует. Если я не смогу доказать, как она не права, то не смогу уважать себя...

Ляпнул, и мысленно застонал: зачем?!

Попробовал сменить разговор:

– Что в коробке-то было? С бантами? Которую ты старой кобре всучил?

Трубицын усмехнулся:

– Эх, брат, лучше тебе об этом не знать. Разум, говоришь, бунтует? – он подмигнул. – Ай, Еленушка! ай, лиса! Что уж она учудила?

Данила сжал губы. Больше – ни слова.

– Да ты не кисни! – Трубицын ткнул его в бок. – Сам знаешь, эти дамочки... платья, понимаешь, фасоны, рюши. Вода цветочная... ондулясьон... Выше голову! Где наша не пропадала?..

Набежали тучи. Ветер подул неласково. Прохожие опасливо косились на небо, а извозчик остановился и поднял крышу коляски.

– Куда мы едем? – спросил Данила.

– Прочь из твоих трущоб! В мир, к людям, в жизнь! Эй, брат, где тут у вас гуляют? Смотри, место чтоб приличное!

– Сад Аркадия, если поближе, – отозвался возница, – а то на острова...

– В Аркадию? Разве ж там кормят?

– Ресторан при театре, недурной-с. Но если желаете, можно и на Невский с ветерком...

– Гони в Аркадию! – скомандовал Трубицын.

Извозчик взмахнул вожжами:

– Слушаюсь, вашблагородь!..

Как у него получается, думал Данила. Все рады ему угодить – от Цирцелии до последнего ваньки. Даже Данила: тащат его, как мопса на поводке, а он и не пикнет.

И ведь был бы семи пядей во лбу. Или красавец. Так нет: рожа как рожа, умишко – не Даниле чета, а вишь ты, каков. И с женщинами у него ладно. От пигалиц до почтенных матрон – ко всем подходит имеет. С гимназистками – душка, с девицами – видный жених. А замужние пилят супругов: чужой человек, а услужлив да обходителен... даже селедка – и та улыбается, как родному...

Порыв ветра. Черная беременная слониха нависла над улицей. Едва держалась, разбухая, предупреждая дальним раскатом грома – сейчас.

Шквал – промозглый, пропахший корюшкой. Крепкие капли упали в пыль, оставив воронки, деликатно постучали по верху экипажа: тук и тук.

То было первое и последнее предупреждение.

Молния вспорола туче брюхо. И – хлынуло. Сплошным потоком, спеша смыть Благовещенскую, с палисадниками, кленами, публикой, храмом Пресвятой Богородицы, рельсами конки и пареньком-посыльным в фуражке, присевшем в изумлении возле фонарного столба.

Косой ливень бил в лицо, по глазам. Скрипели колеса, гудели водосточные трубы. Мальчишки, визжа, босоного плясали в лужах. Прохожие спешили по тротуару, пытались скрыться под кронами тополей. Лошадь, нахлестываемая кнутом и ливнем, неслась, поднимая волну, как заправский линкор.

Трубицын вертел головой, азартно озирая стихию, словно это он, специально, вызвал потоп:

– Каково поливает, а?..

Из водосточных труб церкви лились потоки, захлебываясь, как из пожарной кишки, хлестали в сток, и, словно этого мало, дождь надал так, что полетели клочки и ошметки застрявшего в трубах мусора. Чпок! Из трубы выкинуло дохлую крысу. Из другой вылетела голубиная тушка. Дрянь кружило в водоворотах, смывало ливнем.

Буйное, свежее растеребило душу Данилы, поманив, пообещав новое.

Взбаламутило – и исчезло.

Кара небесная

Питер, девяностые, весна

На скамейке возле подъезда дома на улице Савушкина (бывшей Благовещенской), где привык заседать женсовет, сегодня кворума не было.

Андреевна ушла в собес биться за гуманитарную помощь, тетя Зина лечила колени припарками из капустных листьев.

Так что куковала тут парочка старожилы: Фаина Аркадьевна, монументального вида старуха с золотозубой улыбкой, и сморщенная пигалица баба Клава, которую соседи давно сократили до Баклавы; кричали «здра-сте-ба-кла-ва», а ей слышалось: «доброго здоровья вам, Клавдия Степановна».

К ним же прибился Антон Ильич, пожилой джентльмен в летнем плаще и берете по случаю ветреных весенних погод.

Почетный, но случайный гость женсовета в тот роковой вечер присел отдохнуть после марш-броска с работы. От часовой будки возле метро «Черная речка» он прошелся пешком, и теперь готовился к восхождению на четвертый этаж. Годы, знаете ли, брали свое: Ильич уже разменял седьмой десяток.

Вопросы на повестке дня стояли насущные. Новости из телевизора не сулили добра. Талоны на сахар ввели? Ввели. На хлеб, твердо обещал представитель властей, талонов не планируется. Да кто упырю-то поверит?

Фаина Аркадьевна – ни на грош:

– Про сахар то же самое говорили. Про бесперебойные поставки. А сегодня-то видели? На птицефабрике – трупы кур! Стаями птицыдохнут. Конвейер, говорят, у них сломался! У них конвейер, а мы помирай с голоду...

– Потому что воруют! – не к месту, но энергично встряла Баклава, – тут показывали, как на проходной одна швея тридцать пар чулок на себя напялила, чтобы вынести! Тридцать пар! Куда столько?! Вот она, жадность.

– Говорят, – понизив голос, сообщила золотозубая соседка, – на ЛАЭС выброс был. Радиация! В новостях, конечно, опровергают, но, если бы не было – чего опровергать-то?

– Дыма без огня не бывает, – поддакнула Баклава.

Обе уставились на соседа: сидение на скамье предполагало живое участие в прениях. Сегодняшние новости Ильич пропустил, но вставать пока не хотелось; поэтому он выдал вчерашнюю, взбудоражившую его весть:

– А про сфинкса слышали? Уронили его. В Неву.

– Страсти египетские! – всплеснула руками Баклава, – как же так можно?..

– Автомобиль врезался, – пояснил Ильич, внося лепту в парад-алле городских ужасов. – Водитель пьяный был...

– Разъездились! – рассеяно сказала Фаина Аркадьевна.

Уже минут пять она прислушивалась к звукам разгорающегося скандала: из открытой на шестом этаже форточки летел визгливый женский голос, ему вторил мужской баритон.

Интересно, решила Фаина Аркадьевна. И тут же поджала ноги.

Как иллюстрация водительского беспредела, к подъезду, втиснувшись между скамейкой и тощей березкой посередине газона, подкатил джип.

Правые колеса его остановились на разбитой асфальтовой дорожке, левые беспечно проехали по клумбам, которые лет двадцать уже любовно разбивала тетя Зина, страдающая нынче коленями.

Высокая морда джипа почти уперлась в окна первого этажа.

Онемев, женсовет и Ильич смотрели, как из машины аккуратно, чтобы не оцарапать дверцу, вывернулся водитель – сосед Ярослав. На приветствия ответил едва заметным кивком.

Бабки поджали губы. Ильич головой покачал – едва ноги не отдал соседушка.

Ярый был явно доволен жизнью. Открыл багажник, извлек из него огромную коробку с надписью «Yamaha». Распялив лапы, обхватил ношу и, пошатываясь, попер в подъезд.

– У Зины там были крокусы, – прошептала Фаина Аркадьевна, – прямо под задним колесом...

– Вот такие сфинкса и уронили, – вполголоса сказала Баклава.

– Эти... все им нипочем, – пробормотал Ильич.

Возмущенная Фаина Аркадьевна рассматривала на туфлях – коричневых, на крепкой квадратной подошве – пятнышки грязи от колес авто. Злорадно заметила:

– А этаж-то у него седьмой. А лифт-то опять не работает!..

Сидеть на скамейке было теперь неудобно: под самым носом раскорячился здоровенный, как племенной бык, сверкающий черными боками наглый джип, в который очень хотелось плюнуть.

Но связываться с соседом – себе дороже.

– Молодой, да ранний, – высказалась Фаина Аркадьевна, – это же сколько деньжищ такой паровоз стоит?..

– Много, – ответил Ильич. – Наши пенсии взять на сто лет вперед, сложить – может, на переднее колесо и хватит...

– Воруют! – пискнула Баклава, но ее никто не поддержал.

Собеседники прислушивались к звукам ссоры на шестом этаже.

И, хотя Ильич терпеть не мог слуховой аппарат, иногда он бывал незаменим: когда приходилось отлаживать ход особо упрямых часов, или вот сейчас. Старик подкрутил «ухо» на полную громкость.

Звуки усилились – птичий гвалт резанул отчаянным писком, хлопок выхлопных газов отдался взрывом, зато и скандал, полыхавший на шестом этаже, он теперь слышал так, как будто сам там присутствовал.

Ругались двое, бубнил телевизор, и вся адская полифония звучала громче и громче.

– Я тебя из дерьма хочу вытащить, – верещала девушка, – инженер! Такие инженеры сейчас в порту мешки разгружают! Тебе человек нормальную работу предлагает! Нормальную! Работу! По-соседски!

– Наше независимое расследование показало, что уровень нитратов в партии свеклы превосходит в десятки раз допустимые нормы, – сообщил телевизионный голос.

– По-соседски? Когда это ты так со Славкой подружиться успела? Никогда в холуях не ходил и не буду! – гремело в ответ. – Из меня официант – как из тебя... Майя Плисецкая!..

– В результате взрыва самогонного аппарата пожар распространился...

– Ты на что это намекаешь?! Ты это что – балерину вспомнил? Козу твою бывшую, тощую?!

– Украденный мешок яблок похититель тут же на Некрасовском рынке сбывал по рублю за...

– При чем тут козы, дура?..

– На восьмом этаже жилого дома держал трех свиней...

– Я – дура?! Да я ради тебя сюда переехала, дедулю твоего обхаживала, думала, нормально с тобой заживем... По комиссиям дурацким бегала... объявления писала... а ты ни цветочка мне...

– ...проституток гостиницы «Прибалтийская» и проводил их мимо швейцаров...

– Комиссионки?! Так ты дедовой смерти ждала?! С соседом шашни крутила?..

– Пашу, как проклятая: все для нас, телевизор новый...

– Телевизор, блин?!..

– Выставка, посвященная жертвам сталинских репрессий откры...

Раздался хрип – будто телеведущего душили, а может, отрывали голову. В пользу последнего сигнализировал скрежет, будто что-то откуда-то выдернули с мясом.

– Твой телевизор смотришь только ты! – взревело наверху.

– ЧТО ДЕЛАЕТСЯ-ТО!!! – глас, по силе затмевающий трубы Иерихона, протрубил у Ильича прямо в мозг, разнесся по позвоночнику, отозвался в каждом нерве до последнего, скрученного артритом, мизинца:

– СЛЫХАЛИ?!

Ильич подпрыгнул на месте и спешно сдернул слуховой аппарат.

Иерихонские трубы звучали голосом Баклавы, которая, наконец, расслышала полыхавший скандал, и свое ценное мнение выдала Ильичу прямо в ухо, не учитывая, что полная мощь слухового аппарата превратит ее голос в слаженный хор всадников Апокалипсиса.

То было начало – Апокалипсис не замедлил последовать.

Небеса разверзлись. Из образовавшейся прорехи, блеснувшей на солнце стеклом, вылетела кара небесная и ринулась вниз.

Кара была квадратной, черной, с ослепшей линзой кинескопа, и, подобно комете, волокла за собой хвост проводов.

Оглохший Ильич наблюдал немое кино и даже не догадался пригнуться: кара летела слишком быстро. Соседки замерли с выпученными глазами.

И кара обрушилась.

Не на них, а на припаркованный у самых окон новехонький джип. Их окатило осколками, а звон и рев Ильич расслышал и без механического уха.

Он видел все, как в замедленной съемке: как пригнулся под непосильной ношей джип. Как телевизор подпрыгнул в глубокой вмятине на капоте. Как не спеша, будто раздумывая, продолжить падение или нет, завалился на бок и все-таки съехал к краю, перевернулся и рухнул в опасной близости от ног Ильича.

Нахальный бандитовоз теперь выглядел, как жертва стихийного бедствия: выбитое лобовое стекло, расплющенный капот, оседающее колесо.

И орал джип, как потерпевший: включившуюся сигнализацию Ильич слышал без всяких усилий, а уж соседки, наверно, и вовсе оглохли.

Будто поддерживая собрата, заорали соседние машины: их сигнализация настроена была на любой чих. Орала частная собственность, возмущенная покушением. Но громче всех верещал пострадавший: заливался тонким воем кастрата, стенал и жаловался на тяжкую травму.

На шестом этаже закрылось окно.

Женсовет, напуганный и опаленный, двинулся в парадную. Падкие на сенсации дамы решили, что следующую часть представления лучше пронаблюдать из окна. За дверями, крепко закрытыми на ключ. И на цепочку – на всякий случай.

Кранты Николаю, подумал Ильич. Славка его шкуру на часовые ремешки пустит...

Он побрел в подъезд. Очень хотелось оказаться дома. Навстречу, с сумкой через плечо, вылетела зареванная девица – Колькина зазноба эвакуировалась, почуяв, что пахнет жареным.

На лестнице его едва не сшиб бегущий автовладелец. Глаза налиты кровью, морда багровая. Схватил Ильича за плечи и заорал:

– Кто?! Что ты видел?!

С перепугу дед гаркнул в ответ:

– Ты мне за это ответишь! Твои стекла меня чуть глаз не лишили!..

Сосед дико посмотрел на него, отшвырнул к стене и ринулся вниз.

Возле своей двери Ильич на минуту остановился. И не зря.

Увидел бледно-зеленого Николая, спешащего вниз.

– Коля, – позвал Ильич. – Ты это, зайди-ка ко мне.

Тот ничего не соображал, но Ильич ловко зацепил его за рукав и чуть не силой уволок в квартиру.

Ничего. Подождет Ярослав, бывший пионер Славка, а ныне – авторитет Ярый.

Не надо Коле сейчас к нему соваться.

А может, и совсем не надо.

Ну его. Погодим.

Если выйти из метро «Черная речка» и повернуть на улицу Савушкина, то в угловом доме можно увидеть маленькую вывеску «Ремонт часов».

Нужно смотреть внимательно, потому что гигантские щиты с рекламой виски, сигарет и трастовых фондов, так необходимых бывшим советским гражданам, закрывают ее почти целиком. Но кусочек разглядеть можно: «нт часо» – вот такой, синим по белому. Вернее, по серому, поскольку окна в витринах, по давней ленинградской традиции, не моют от ввода здания в эксплуатацию до последнего вздоха под ударом бульдозера.

Поднявшись на три ступеньки, можно увидеть то, что было когда-то гастрономом самообслуживания.

Теперь тут «комок». Людское торжище, где можно купить резиновые калоши и пуховик, туфли на платформе и турецкий парчовый галстук, французскую губную помаду на марганцовке и натуральный Диор – в разлив. А также жирные сиреневые тени для век, колготки с люреksom, зажигалки в виде пистолетов и самопальные значки с надписями, сочиненные безумцами.

Один из безумцев – Художник, давний знакомый Ильича. Тот самый, что живет в Коробке с карандашами. Но не вздумайте писать этот адрес на конверте – почта вас не поймет.

Сам Ильич коротает время в маленькой будке с окошком, стоящей у входа. Надпись «Ремонт часов» на ней можно прочесть целиком.

– Вот ведь глупость какая, – говорит Ильич.

Он изучает значки, принесенные Художником. Кое-как наляпанные на белом фоне названия групп.

«Битлз», «Роллинг стоунз», «Металлика». На одном из значков – мужик с пропитой рожей рвет на груди тельняшку. На пузе надпись «я из Питера».

– Но ведь покупают, – застенчиво говорит Художник.

– Хрень покупают! – ворчит Ильич, – из Питера... а где тот Питер? Разворовали, замусорили. Барыги, ворюги, бюрократы!

– Вы бы еще царя-батюшку вспомнили, – миролюбиво отвечает Художник.

– И вспомнил! – распаляется часовщик. – Да не последнего, первого. Петр-то, небось, когда строил, другой город хотел. О столице мечтал! Цивилизованной и просвещенной... а у нас?..

– «Восемь месяцев зима, вместо фиников морошка», – цитирует Художник.

– Грамотный, – ворчит Ильич и тыкает пальцем в окно.

Поливальная машина под дождем моет улицы, щедро разбрызгивая воду.

– Вот и все у нас так. Видишь?..

– Ладно, Антон Ильич, – вздыхает Художник, – пойду. К вам клиент...

Длинноволосая фигура бредет к выходу, возвышаясь над посетителями на целую голову. Пародия на Петра, тощая и бесприютная, как призрак.

Клиентка нагнулась к окошку и жалуется:

– Опять стоят. С тех пор, как муж... только он мог с ними сладить. А я чуть-чуть стрелки подвела...

– Вы подводили стрелки? – Ильич вынимает из глаза лупу. – Я же вам говорил! Нельзя стрелки подводить, понимаете?

Он сокрушенно смотрит на собеседницу и ощупывает пострадавшие часы.

Руки белые и чуткие, больше подходящие врачу.

Часовщик сутулится – возраст, плюс долгие годы сидения согнувшись, с линзой в глазу. Оттого и морщинок вокруг правого глаза больше. Венчик пегих волос обрамляет обширную лысину. На работе он всегда снимает берет.

Вот сколько объяснять им: нельзя! На старинных часах стрелки не подводят! Аккуратно надо. Бережно.

– Что же вы, – сокрушается он. – Вот смотрите. Тихонько маятник снимаем. Без утяжеления стрелочки сами побегут. Быстро-быстро. Глядишь, минут через десять и догонят полу-часовое отставание. Сами они дойдут! Са-ми. Приходите завтра.

Клиентка исчезает.

Но у Ильича сегодня аншлаг. В окошко засовывается широкая лапа с перстнями-печатками, раскрытая ладонью вверх. Ильич борется с искушением в нее плюнуть. Сквозь окошко видит круглую, коротко стриженную башку, кожаную куртку поверх спортивного костюма и наглые пустые глаза.

Требовательное:

– Дед! – звучит, как команда. Привыкает сопляк повелевать.

– Антон Ильич, – спокойно отвечает старик, – а ты внучек, чьих будешь?

– От Ярого привет.

– И ему поклоны, – говорит Ильич. – Так и передай Ярославу: пусть, значит, не хворает, не кашляет...

– Дед, ты дурака не валяй. Баблю давай. Служба безопасности даром работать не будет...

– А я такую безопасность не заказывал, – ворчит Ильич.

Раскрывает коробку с наличкой и с отворачиванием сует в лапу синие фантики.

Бычок ржет:

– Маловато будет. Послезавтра опять зайду. И еще разговорчик от Ярого к тебе есть...

– Пусть Ярослав приходит и сам разговаривает.

– Слушай, дед, – бычок теряет терпение, – ты б не хамил, а? С тобой по-хорошему, а ты быкуешь.

Старик молчит, смотрит на мальчишку, которому лет десять назад на «Авроре» пионерский галстук повязывали. Во что превратился? В сволочь.

С Ярым они соседи, но знакомство с авторитетом не спасает. Он так сказал:

– Антон Ильич, ну чего ты хочешь? Время такое: каждый крутится, как умеет.

В оконце просовывается газета. Бесплатная, с объявлениями, и одно обведено ручкой: «продается...». Знакомый телефон. И имя знакомое.

– И что? – вопрошает он.

– Да так. Ярый говорит, спроси, может, знает чего. Может, тебе эту цацку приносили? Или хозяин заходил? Николай, вон и номерок его, а?

– Первый раз вижу, – отвечает Ильич.

Рожа глумливо хмыкает. Ильич молчит.

– Ну, бывай, дедуля. До скорого.

Бычок расхлябанной походкой идет меж торговцев. Останавливаясь то там, то тут, небрежно протягивает лапу – собирает дань.

Он называл их «эти».

Эти хапают все, до чего дотянулись. Плодятся, как мухи-дрозофилы: вчера один, завтра – туча. Страну растащили, схарчили. Всосали заводские дымы, понатыкали кабаков. Под лубок расписали город: всюду торгуют, крутятся, перетирают, палят. И слова-то у них жуют и чавкают: тач-ки, тел-ки, ларь-ки. Гнилое племя!

Вот был пионер, Славка... щекастый пацан, ревел над воробьем, подранным кошкой. Птаха в руках, кот на дереве... глаза птички пленкой подернулись, лапки дрыг. Славка стоит, слезы капают... и чего вспомнилось?

Был Славка – и нету. Смолотило и выплюнуло. Есть теперь Ярый, авторитет. Сопляк, а туда же: пуш-ки, баб-ки...

Эти не то, что стрелки подведут – вовсе время растопчут. По головам пройдут, из каждого душу вытрясут. Куда не кинь – все тащат, под себя подминают. У них у каждого на часах свое время.

Ильичу казалось, что в этот год не только люди с ума посходили – само время взбесилось, рассинхронилось, болтается туда-сюда.

Говорят когда-то, тысячи лет назад, старик Хронос сожрал своих детей. А сейчас народились детишки-отморозки, освежевали папашу да обгладывают по кусочку.

Каждый день ему несут часы – разбитые, поломанные. И все показывают разное время. Если само время сломалось – что о людях-то говорить?

Теперь вот Кольку им подавай. Хватко за дело взяли: видать, квартиру его обшмонали, раз объявление выплыло.

И к Ильичу не забыли наведаться. Ну-ну.

Ильич Ярому сразу сказал: на, смотри. Хошь в цветочный горшок загляни, хошь в унита-таз...

Старик хихикнул, вспомнив, как на башку Ярому с антресолей рухнули жухлые стопки «Правды». Ниагарский водопад. Пригодился рупор коммунизма, не зря он макулатуру сберег.

Хрен вам, а не Колька. Теперь не достанете.

Мозги куцые, все в мышцы пошло. Слуги безвременья, мелкие, будто вши, да кусачие. Как саранча, хватают все, до чего дотянуться могут.

Иногда Ильичу снился сон, как эти, болтаясь на стрелках, крутят куда попало часы, и от того время в Ленинграде, взбесившись, скачет: тут и баррикады с дурными анархистами, и доморощенный НЭП, и декаданс со шпаной, и ряженные попы с Кашпировским по телевизору.

Ускоряются минуты, секунды тают, как рафинад в чае, и неизвестно, что будет завтра, в какой стране, да и будет ли завтра? То-то.

Кто виноват? Ну, не мировой же капитализм. Сами до жизни такой докатились.

Са-ми.

Вот только снится Ильичу чудовище сторуко, стоглазо, раскрывает жадные рты. Рук у него не счесть, и все тянутся, хапают, хватают. Головы его – бритые, как у братков, холеные, как у депутатов с листовок, кукольные, пустые, как у рекламных шаров...

И есть среди них лицо – гладкое, узкое, с прищуром из-под круглых очков, и не знает Ильич, кто таков, но чует во сне – его это рук дело, он-то время и сломал, зная бы кто таков – замарал бы руки, удавил, не задумавшись...

Такие вот сны.

А пока – свое поле боя у Ильича, и на поле том он – санитар. Дальше фронта все равно не пошлют. Дедушка старый, ему все равно, ага.

Кольку вот вытащил. Люду. Ядвига.

Тут Ильич ухмыляется.

Видел бы эту улыбку браток – мигом заподозрил неладное. Но тому не до часовщика – делом занят, продавцов потрошит.

...Ядвига позвонила ему, как ни в чем не бывало. И сказала привычный, с юности знакомый пароль:

– Покутим?..

Вот только на часах была половина третьего ночи, за окошком – кромешная ноябрьская хлябь, а голос ее до того был натянут, казалось, вот-вот оборвется.

Когда обоим за шестьдесят, трудно предполагать внезапно вспыхнувшую страсть. Да и перегорели страсти: в студенческих плясках в Политехническом, в стройотрядах да турпоходах. Теперь оба старики, оба жизнь красивую прожили. Страсти ушли – дружба осталась.

Вышел ей навстречу: пока доковылял до Черной речки, она с Петроградки пешком дошла, через мост, под снежным дождем.

Высокая, статная, в черном пальто до пят, с рюкзаком за плечами и клеткой под чехлом. Вот женщина: годы ее только красят.

Как Ильич клетку увидел – понял, что дело швах. Собралась.

Долго шли – весь остаток ночи. Но кому какое дело до стариков, что бредут сквозь пургу? Никому и не было.

А Ильич чуть от смеха не лопнул, когда Ядвига ему все рассказала.

Шуму было! Даже в газете писали.

Но эти поздно хватились – Ядвиги и след простыл.

Эти вечно позже, чем надо, спохватываются.

Еленино яблоко

Санкт-Петербург, 1907 год, весна

Ливень кончился, и четверти часа не прошло.

У сада «Аркадия» омнибус высаживал пассажиров в огромной луже. На империале висело гигантское объявление: «Велосипеды Энфильд. Торговый дом Алексеев и К».

Данила Андреевич усмехнулся, вспомнив модную присказку: «было у отца два сына, один умный, другой – велосипедист». Да кто согласится на этакое чудовище по доброй воле залезть?..

Извозчик объехал конкурента и высадил их у входа.

После гимназии ресторан с белоснежными скатертями, верткими лакеями и упоительным ароматом яств должен бы был показаться Даниле райскими кущами, но вместо этого поверг в меланхолию.

Вот она, жизнь, думал он. Блистающий мир в двух шагах. Мир, в который ему без Жоржика вход заказан.

Именно Жорж небрежно подзывал лакея и требовал самое лучшее. Именно Жорж, не смущаясь, раскланивался с дамами. Именно Жоржу приносили дегустировать вина и с тревогой ждали вердикта – угодно ли-с? Или дорогой гость желает что-то еще?..

А Данила был лишь случайным спутником, которому позволено, расположившись в креслах, слушать, как тенор с блестящей от луж эстрады выводит романс о любви...

Почему?

Чем он хуже?

Тем, что не сумел устроиться сообразно интеллекту? Не обучен унижаться и хлопотать?

Горько все это и пошло.

Уткнулся в тарелку. Жевал, не чувствуя вкуса, и тут сверкающая вилка предательски выскользнула и, оглушительно лязгнув, свалилась на пол.

Публика обернулась на звук.

Пунцовый Данила полез под стол, завозился, едва не запутался в скатерти, мечтая провалиться сквозь землю.

Вынырнув, обнаружил, что Жорж смотрит на него с улыбкой – как добрый папенька на неразумное дитя. Подмигнул:

– Чего загрустил? Давай-ка, брат, выпьем!..

И поднял бокал.

Данила Андреевич пить не любил. Ничто не ценил историк столь дорого, как ясность ума. Вино же ставило интеллект под удар и будило в нем альтер-эго: человека, которого трезвый Данила предпочел бы обойти за версту.

– За встречу!..

Трубицын сиял, как самовар квартирной хозяйки Надежды Аркадьевны. Глаза блестели, словно два созревших каштана. Пухлые губы раскрылись, демонстрируя крупные зубы. Ноздри хищно втягивали аромат коньяка. Жорж был доволен собой, как последняя сволочь.

К черту, решил Данила. Один раз живем.

Густая, терпкая, с шоколадным вкусом волна обожгла гортань. Обняла, потекла по венам. Жизнь вдруг показалась не такой уж и скверной штукой.

Трубицын сказал:

– Вот ты, брат, историк. Полководцев наперечет знаешь. Баталии. Так что ж ты с Еленушкой-то осаду по правилам провести не смог? С твоими мозгами? Дамочка – она же как...

бастион, – он поднял вилку, – если подумать, когда измором взять, когда обстрел провести – букетами и презентами, глядишь – дело-то и пойдет.

Данила аж поперхнулся.

Нелепость какая! Жорж его батальным премудростям учит! Жорж, который слово «благотворительный» написал с восемью ошибками. Жорж, который заснул на экзамене по латыни, Жорж, который...

– Или, к примеру, заслать лазутчика, – продолжал тот, – чтобы разведал планы противника... это – стратегия. Это – тактика. Это – победа на всех фронтах!

Данила онемел. Обывательская философия Жоржа так его возмутила, что ничего не осталось, как выпить еще раз. Зеленый змий обвил его плечи, положил голову на колени и замурлыкал, как сытый кот.

– Как у тебя просто, Жорж. Крепость – бездушная груда камней, а ты сравниваешь с живым человеком...

– Да ведь так, брат, и есть! Только иным умникам этого не понять. Все рассуждают, извилиной шевелят. А толку?..

Даниле хотелось пресечь пустой разговор парой колких и едких фраз, но тут альтер-эго, окропленное коньяком, пробудилось от сна, отодвинуло здравый смысл и вышло на сцену:

– А тебя, я смотрю, весьма Елена интересуется, – заметил он. – О чем бы ни говорили – все Елена да Елена. Может, тебе самому осадой ту крепость взять? Раз уж ты такой полководец?..

Трубицын усмехнулся сквозь пузатый бокал.

Данилу это злило: хотелось уколоть так называемого друга, чтоб не копался в сердечной ране.

– А знаешь, – неожиданно для себя сказал он. – Ты, коли хочешь – бери ее и ешь с кашей. Елену. Мне все равно.

– Эх ты невестами-то разбрасываешься, – заметил Трубицын.

– Она ннне... ннневеста, – Данила будто сплюнул с языка ледяную сосульку.

– А что, – продолжал он, распаясь, – дама приятная. Фактура. Локоны. Глаза, – тут он вспомнил голубые, как небо, глаза Еленушки и сердце защемило. – Талия, – желчно продолжал он, – и папахен с приданым, и мамахен уж точно от тебя без ума будет...

– Давай-ка выпьем, – неожиданно мягко сказал Жорж. – За тебя, дружище Цапелъ. Не горюй, брат, глядишь, все наладится...

Теплая волна благодарности поднялась в груди. Вот глянешь – полено поленом, фат, балабол... а понимает!

– За тебя, друг! – Данила хватил глоток, от которого запершило в горле.

– Скажи-ка, брат, – продолжал Трубицын, – что такого могла дама сердца свершить, чтобы ты... как, бишь, «не смог принять разумом»? На мой разум приходит одно...

Слышать, что приходит на ум пошляку, был Данила не в силах.

– Хочешь знать, что такого? Изволь. Представь, что есть женщина. Умнейшая, просвещенная. Ты с ней говоришь о письмах Вольтера, о Цицероне, о Северном флоте... неважно.

Данила принял бокал, в котором вновь плескался коньяк, и продолжал:

– И тут узнаешь, что она... при всем уме, красоте, добродетелях...

Трубицын подался вперед, донельзя заинтригованный.

Данила припечатал:

– Она. Ходит. К гадалкам. И верит! Всей чепухе. Как какая-то... деревенская баба!

Высказал, что на душе, и прикрыл глаза.

И вздрогнул от странных звуков.

Трубицын хохотал, утирая слезу. Хлопал рукой по колену, не смущаясь под косыми взглядами дам, тряс черной башкой, отмахивался салфеткой.

– И... все? – выдавил он сквозь смех, – только-то? Мадам, прошу извинить, мой приятель такой остряк, такой анекдотец сейчас завернул, уж не обессудьте, пардон, пардон.

Публика расслабилась, заулыбалась. Даниле перепало несколько женских взглядов: надо же, на вид неказист, а оказывается, какой остроумный...

– К гадалкам! – шепотом повторил Данила. – К сумасшедшим, пустоголовым, никчемным теткам с их картами, фокусами, чревовещанием. И верит! Всем этим сонникам, пророчествам, чертям в ступе... и убеждает меня! Что и мне должно верить!

Трубицын приснул в кулак. Но тут же принял серьезный вид.

– Да, братец. Дела. Разум бунтует. Нет, что ты, я не смеюсь, – он замахал руками. – А знаешь, брат Цапелъ... может, Елена из тех самых женщин, коим хочется волшебства. Чтобы дым, мистицизм и прочее столоверчение. Гадалки! – он хихикнул, покачал головой. – Ты вот что. Выпьем! За разум, за здравый, понимаешь ли, смысл, и, гори оно все – за торжество просвещения! За наш двадцатый, за светлый век!..

Против такого тоста Данила не мог устоять. Глаза увлажнились. Эх, Жорж, валенок пустоголовый, как сказал!

– За просвещение! – Данила попытался встать, но мягкое кресло его не пустило, – до дна!..

Выпил – и окинул ресторацию новым взглядом. Зеленый змий интимно мурлыкал в ухо: посмотри, как чудесен мир!

Звенела музыка. Дамы, прекрасные все до одной, смотрели загадочно и призывно, лакеи сновали меж столов, жизнь вертелась, плясала, заманивала пестрыми цыганскими юбками.

Затухающий здравый смысл напомнил, что самое время выпросить друга о том, как он достиг таких высот в жизни, что эти лакеи... и вилки... и дамы... все ежечасно к его услугам.

Но сделать это надо тонко... изящно. Начать про дружбу и альма-матер, отметить, что старый друг лучше новых двух. Польстить, что Трубицын, как никто другой, понял его терзания... закрепить в пустой башке Жоржика мысль, что Данила умен... очень умен. И надежен! И лучшего компаньона, чем бы ни занимался Жорж, ему не сыскать. Выказать проницательность: он-то, Данила, сразу понял, что за этим Жорж и приехал. И только его... многословие? Нет, невежливо. Болтовня? Еще хуже... только его жизнерадостность и тем-пе-ра-мент, да-да, темперамент... и еще радость от встречи с другом... и дух школярского братства... не позволили перейти сразу к делу. А теперь – можно и нужно.

Можно. И нужно.

Эта проникновенная фраза за секунду пронеслась в голове, словно готовый, на бумаге написанный спич, и Данила почувствовал, что время пришло.

Прямо сейчас он скажет. Жорж будет обрадован и растроган.

Можно. И нужно.

– Есть тост! – сказал он.

– Жарь! – одобрил Трубицын.

– Можно! И нужно! – начал Данила, и тут предательский змий шепнул в ухо, да так, что листок с пламенной речью, на мгновенье мелькнув, сгинул, оставив вместо себя одну фразу:

– Можно и нужно выпить за милых дам! Стоя! До дна!

Последняя фраза прозвучала уж слишком громко.

Но поздно.

Данила стоял, стоял и Трубицын, и все кавалеры в зале уже поднимались с мест.

– За прекрасных дам! – гремело повсюду.

Дамы зарделись, а мужчины улыбались друг другу, как будто совершили что-то великое.

– А ты брат, не промах, – подмигнул Жорж. – Я и не знал, что ты у нас дамский угодник!

Вместо ответа он улыбнулся другу, и вечер нахлынул, закружил в объятиях, повел лабиринтами будущих злоключений.

Заказали шампанского. С этого момента вспоминания чуть сбивались.

Широкий бокал с чем-то пенным. Обильное декольте перед носом Данилы. Скрипка и звон монисто.

– Время пополнить кассу!..

Толстый палец Жоржа перед глазами. Адамова голова на перстне раскачивается и подмигивает.

Тут же, без перехода, огромная темная зала без окон. Гробы.

Домовины, обитые атласом. Простые из струганных досок. Строгие лакированные и помпезные с золотыми кистями. Крытые Андреевским флагом. Огромный, стоящий торчком, царь-гроб из красного дерева.

Меж гробов, как наемник Харона, лавирует Жорж. Зубы и белый глаз зловеще блестят в полумраке:

– Тссс! Время пополнить кассу!..

Скудный огонь свечи выхватывает из мрака венки, бросает на стены зловещие носатые тени.

– Мы грабим гробовщика, – рыдает от смеха Данила.

– Тссс! – шипит Трубицын и вилкой пытается вскрыть запертый ящик бюро. Мысль – откуда в похоронной конторе вилка?

– Марина Мнишек, – сообщает Данила, – первая в России стала есть вилкой...

– Тссс! – Трубицын вилкой же ему и грозит.

Обоим жутко смешно.

Выпала из памяти дорога: ландо? Конка? Пешком?

Зато отчетливо помнит холодный свой голос:

– Не называй меня Цапель!..

Проникновение в его жилище. Галантный, нетвердо стоящий Трубицын излагает квартирной хозяйке путаный комплимент.

Хищение из жестяной коробки от чая Данилиных сбережений...

Холодный ветер с залива, горячий шепот Трубицына:

– Брат Цапель, фортуной ты поцелованный. А в любви не везет – будет другое счастье...

Ватной и серой ночью, ближе к утру, Данила обнаружил себя за столом в дымном, низком, визжащем скрипкой, хрипло бормочущем голосами месте.

Кажется, шли бурьянами, кажется, были гнилые мостки без перил...

– В Пьяной гавани мы, где же еще? – удивился Трубицын. – Ты сам с фортуной целоваться решил!..

Кто-то сдал карты. Жоржик шепнул:

– Играй, брат. На новенького должно повезти!

Все взгляды остановились на нем. Из картежного словаря он знал одно слово:

– Я пас, господа.

– Этак дело не пойдет, – сокрушался Трубицын, уводя его от стола. – Голова дурная, с таким-то прикупом пасовать?

– Картам не обучен, – оправдывался Данила. – Шахматы. Шашки... Индийская игра го... ребусы...

– Ребус ты мой луковый! Куда же тебя, – Жорж стоял за спиной у Данилы, постукивая пальцами ему по плечам, как учитель музыки, выбирающий, к сопрано или альтам определить новую хористку.

– О! Сей момент! – и, потащил его, как буксир лодчонку, в дальнюю часть кабака.

Тут, на полу, на ковре с невнятным узором, расположились двое. Бородач в халате и феске и толстяк без сюртука, в манишке и манжетах.

– Кости, брат, – шепнул Трубицын, – для шахматиста – плевая вещь! Кидай, и всех хлопот.

– Господа, – обратился к сидящим, – прошу любить и жаловать! – и широким жестом швырнул в центр ковра несколько ассигнаций.

Здравый смысл, на мгновенье проснувшись, скорбно отметил, что Жорж швырнул на ковер новые сорочки, билет на галерку в театр и свежий альманах «Исторического вестника». Отметил – и растворился.

– Новичкам везет!..

Трубицын хлопнул его по плечу и исчез. Мадам Фортуна, пьяная и продажная, ждала его здесь.

Подобрав ноги, Данила кое-как угнездился на ковре, хотя колени оказались в опасной близости от ушей. Бородач, дружелюбно оскалив зубы, протянул кальян. Он вдохнул сладковатый дым и...

Мир завертелся. Свет будто стал ярче, дым ушел в потолок, а визгливая скрипка сменилась вальсом. В ритме вальса мысли Данилы стали легки, и он мгновенно нашел ответы на мучившие вопросы.

К примеру, Елена. Конечно, ее мистицизм – сущие глупости. Но милые глупости. Женщинам должно бояться мышей, бросать за околицу сапожок и охать, когда молодой месяц показался за правым плечом. И эти гадания, суженый-ряженный и прочая ерунда – лишь повод для невинного сердца сказать, как оно тоскует по настоящей любви.

А ты? – спросило Данилу суровое альтер-эго, – что ты сделал? Она тебя прямо спросила: «вы меня любите?» а что ты ответил?

Данила вспомнил и застонал от стыда. Ответил он отвлеченно и свысока: «Что есть любовь? Овидий...».

О, жалкий червяк! При чем тут Овидий? Вот Жорж бы не растерялся: бухнулся на колено, усы растопырил и немедля выложил руку и сердце.

А может, Трубицын прав? Осада Елениной крепости. Катапульта... Парис. Что-то с яблоком. Или Троянский конь? Лазутчики... а ведь есть в этом что-то, если подумать...

Но думать мгновением позже стало некогда. Турок протянул Даниле коробку с костями. Окрыленные откровением о прекраснейшей Е., руки Данилы вдруг стали легки, движения – артистичны. Он встряхнул коробочку и...

Шесть! Пять! Шесть!

– Новичок? – завистливо спросил толстяк.

И понеслось.

Шесть. Три. Опять шесть. Фортуна вертела задом, строила глазки, кокетничала направо – но все же сдалась и подарила историку жаркий и пьяный поцелуй.

Спустя время Трубицын вернулся и нашел Данилу Андреевича в феске, с кальяном во рту и с солидной пригоршней монет. Рыдал раздетый толстяк, а бородач, уже в манишке, невозмутимо тряс банку с костями.

Жорж потянул друга «спрыснуть выигрыш», но бородач скомандовал:

– Играть!

Ему, Трубицыну, скомандовал.

– Ты кому тут, морда египетская, указываешь? – спросил Жорж.

– Господа! – к ним подскочил верткий, мелкий бес, – господа, тут не шумят, тут играют.
– Господин желает забрать выигрыш, – Трубицын указал на Данилу. – Господину довольно.

Бородач раскрыл бархатный мешок, перевернул. На ковер выпал желтый диск величиной с обеденную тарелку.

– Золото! – всплеснул руками толстяк. Он был похож на рыхлого, обиженного младенца.

– Захаб, – солидно подтвердил бородач. И добавил:

– Алтын!

Тяжелый, из литого металла круг со шкалой, испещренной мелкими знаками. С ажурными съемными дисками тонкой чеканки, насаженными на втулку. Крупный синий камень (топаз? аметист?) вмурован в центральную ось.

– Полюс мира, – пробормотал Данила.

И тут же вспомнил остальные названия. Ось – это полюс мира, под ней – тимпан, ажурный круг с сеткой линий, под ним – паук, фигурная пластина с вязью таинственных знаков, на ней россыпь синих камней помельче. А стрелка поверх...

– А-ли-да-да, – выговорил он по слогам, язык заплетался.

– Это что за сковорода турецкая? – спросил сверху Трубицын.

– Ловушка для звезд, – туманно ответил Данила.

Блеснула, заиграла в дымном свете вещица, поманила далекими странами. Данила много читал о старинных приборах. Он узнал астролябию.

Миг – и повеяло миром древним, непостижимым. Золото льстиво подмигивало, сулило оргии, женщин и караваны верблюдов. Синий камень мерцал призывно.

– Золотая! – вновь ахнул толстяк.

Золотое яблоко.

Будто комета пронеслась в голове. Вот он, ценный дар. Вот то, что позволит Даниле сделать решительный шаг.

...Он ей расскажет о звездах и отважных паломниках, в любой точке мира способных обратить лицо к Мекке. Они вместе расшифруют символы. Нежные пальчики будут ласкать эти стрелки, лазоревые глаза посмотрят на Данилу с восхищением, коралловые губки приоткроются в изумлении...

О, сколько Данила сможет ей рассказать! Как торили морские пути бесстрашные мореходы. Как покоряли пространство и время древние мудрецы. И даже расскажет об астрологии – звездном пути человеческих душ, даст понять, что и наука способна разгадывать тайны любви и смерти...

Они вместе вычислят путь от сердца Елены к сердцу Данилы. Они будут часами говорить, соприкасаться душой и взглядом...

Они...

Рука историка потянулась коснуться стрелки.

Бородач живо отдернул свое имущество и прикрыл мешком.

– Цапель, пора, – шепнул Жорж. – Они же оциплют тебя, как петуха!

– Сколько? – хрипло спросил Данила.

Прищур узких глаз и скрюченные пальцы. Яростный спор на смеси чужих языков.

– На все! – объявил Данила.

Трубицын, скрестив руки, возвышался над ними. Усатая рожа его наливалась темной кровью.

Данила успокаивающе улыбнулся:

– Не везет любви, да-с... ничего, это пока...

Бородач выкинул две шестерки.

Золотой мираж вспыхнул – и исчез.

– Тут. Нечисто. Играют, – обронил Трубицын.

Взял первое, что подвернулось – тяжелую, черную от копоти скамью – и обрушил на ковер.

Бородач закричал тонким, обиженным голосом. Резво вскочил, бросился к Жоржу и мгновенно вцепился в ноздри. Трубицын взвыл и пнул его в пах коленом. Турок скрючился и врезался головой в колченогий стол.

Хруст. Лампа закачалась и рухнула. Пахнуло керосином.

Данила спрятал голову в колени и прикрыл руками. Трубицын поднял обидчика за грудки и боднул лбом прямо в смуглую рожу. Половой завертелся, запричитал. На шум сбегались.

Похоже, публика была не прочь поразмяться.

Пролетел табурет, и в зале стало еще темнее. На Трубицына навалились сразу с трех сторон и он, рыча, заработал кулаками. Звучало так, будто по мешку с зерном молотили палкой.

Снизу Даниле мало что было видно. Но он заметил, как под шумок раздетый толстяк хватал ассигнации и набивал ими карманы. Это было нечестно.

Выкинув руку, историк вцепился в жирное горло. Его тут же звонко ударили по уху откуда-то сверху, и толстяк раздвоился. Перевернулся кальян, вода залила Даниле штаны. Из-под сбитого стола кто-то отчаянно лягался.

Жорж, рыча, обрушил на ковер медный поднос с кружками и бутылью. Следом свалился холуй. Оставаться внизу становилось опасно.

Винючник суматохи, забытый всеми желтый диск тускло блеснул в темноте.

Золотое яблоко, пробормотал Данила, уклонился от летящей скамьи и хищным рывком схватил добычу. Ловко запихнул под рубаху, и на четвереньках пополз было прочь, но взвыл от боли. Это толстяк вцепился ему в икру зубами. Стиснув зубы, Данила замолотил ногой.

Кто-то рывком дернул его вверх и отшвырнул к стене. Уцепившись за балку, он сумел удержаться.

Драка мгновенно, как пожар, распространилась по кабаку. Опрокидывались столы и лампы. Дымная тьма хрипела, бранилась, скулила, хрустела и всхлипывала. Жоржа он не мог разглядеть.

Снаружи слышался свист. Сперва короткий, потом еще, длиннее и ближе. Данилу схватили за плечи.

– Ходу, ходу! – Трубицын ловко впихнул Данилу в какую-то каморку.

Они с грохотом продрались сквозь пыльную тьму, опрокинув по дороге что-то жестяное и дребезжащее, навалились на щелястую дверь, сквозь которую угадывался желтый свет, и вырвались на свободу.

После неслись впотьмах, а рядом плескало море, и в синюшном небе плясала злая луна. Кто-то сзади бряцал и топотал, но отстал очень быстро. Кололись сквозь тонкую подошву камни, но так необыкновенно легко было, словно на Рождество.

На окраину Благовещенской вылезли через дыру меж угольных сараев. Сюртук оказался безнадежно испачкан, вырванный на штанах клочок напоминал об укусе, а Трубицын был похож на черта. Стоя во дворе, они хохотали, пальцем показывая друг на друга.

– Эй, Ванька, – кликнул Трубицын.

– Он не Ванька, он Вейка, – поправил Данила.

Извозчик-финн смотрел на них с сомнением; его коренастая лошадка с лентами в гриве переминалась с ноги на ногу, словно мечтая быстрее убраться восвояси.

Едва уговорили его забрать чумазого господина.

– Да, брат, – садясь в пролетку, сказал Трубицын, – покуролесили знатно. наших увижу – так и скажу: дали мы с Цапелем прикурить... ну, бывай!

– Бывай, – Данила сунул ладонь в широкую пятерню, но какая-то мысль свербила, не давала покоя:

– Ты, Жорж... послушай. Важно! – он поднял указательный палец. – А я едва не забыл. Ответь: что в той коробке-то было? Которую ты гимназической крысе всучил?

Жорж молчал. Воровато оглянулся, потом наклонился к нему, и, обдав горячим дыханием, прошептал в ухо три слова.

Данила онемел на мгновение – и захохотал до слез, сгибаясь и чувствуя, как живот царапает похищенный приз.

Коляска тронулась.

Трубицын поднял прощально руку. Тараканьи усищи на чумазой роже, перепачканный сюртук, и белые, светящиеся в сумраке зубы. Ладонь, поднятая вверх, два пальца – виват, Цапелъ.

Таким и запомнил его Данила той безумной весенней ночью года 1907, а сколько ночей таких еще выпадет – кто разберет.

В Стамбуле, уже в двадцатом, показалось, мелькнули усы на причале. Позже, на пароходе по Рейну, примерещился знакомый фас – ты ли это, брат студенческих лет?..

Еще, много позже, в обломках судеб, на бульварах чужих городов, нет-нет и мелькал кто-то похожий, да вот незадача: махнешь за ним вслед, а его уже хватить – и нету.

Все в туман уйдет...

А пока – вот он, белые зубы в усмешке, рука в прощальном привете – бывай, брат Цапелъ, живи, клистирная ты трубка!

Буду я, буду. С гудящей хмельной головой, прижимая к груди астролябию, спешит Данила Андреевич домой. А навстречу ему, громяхая бочками на ухабах, из города тащится ассенизационный обоз.

Тут мы их и оставим.

Филармония и бухгалтерия

Питер, девяностые, весна

Кореш Миха совсем с глузду съехал. Стрелку забил... в Филармонии! Ярый как услышал – аж «Тичерсом» поперхнулся.

Зато от метро близко. Он уже пару лет не был в метро, и как-то не рвался. Но что делать, если тачка припухает в мастерской? Пацанов надо будет послать, проверить, как работа идет. Вот только куда пропал этот гаденыш, этот бомбардировщик укуренный, этот обмылок недоделанный, который свой поганый телевизор на него, Ярого, тачку сбросил? Любимую, на боевое бабло купленную?..

Ничего, найдется. Может, Миха чего подскажет – не зря же позвал.

Миха с детства упертый был. Если что в башку втемяшится – хрен переспоришь. С прошлой осени, как Ярый показал ему в действии свою педагогику, они толком и не пересекались.

А он, между прочим, не зря его с собой взял. Дела-то было на три копейки, можно было бы не возиться. Но как вспомнит Михину задумчивую рожу – так настроение поднимается.

Наглядно, без лишних слов: вот, Мишаня, свои – они на берегу. А чужие – на дне, рыбам грузоперевозки организывают.

И вроде внял Миха, понял педагогическую задумку друга, но опять унесло его черт знает куда. Не сиделось названному братишке на месте. Опять решил замутить бизнес.

Ботаник, блин. Вспомнив, как обернулся Михин бизнес номер один, каким боком корешу вышел, Ярый не сдержался и в голос заржал. Дамочка перед ним (ладная такая дамочка, блондинистая, в плащике), вздрогнула и обернулась. Смерила взглядом, и губы в куриную гузку свернула. Ишь, не глянулся ей. Овца тупорылая.

Ладно, чего ради друга не сделаешь. Филармония, так Филармония. Что мы, хуже этих мышей очкастых?..

У Ярого, между прочим, с детства была восприимчивая к прекрасному душа.

В гардеробе, в желтом электрическом свете, среди зеркал и пузатых, обитых бархатом банкетов ему понравилось.

Он снял кожаный плащ, нежно улыбнулся гардеробщице:

– Головой ответишь, кошелка старая, – если хоть пылинка...

Седая гримза с камеей не нашлась, что сказать. Глазами похлопала и выдала номерок.

То-то же.

Ярый пригладил еж, щелчком сбросил с пиджака пылинку и вразвалку проследовал к ковровой дорожке. На широкой лестнице малиновым ледоколом взрезал хлипкий лед непочтенной публики.

Расступались мамыши с детьми, жались к перилам очкарики, костлявые теткы в шарфах испугано косились.

А Ярый плыл, как король: в левой руке барсетка, в правой – тяжеленький, как кирпич, телефон с толстой черной антенной.

В фойе тоже шарахались. Когда он обозревал портреты композиторов, справа и слева тут же образовывалось почтительное пространство.

Зря они. Между прочим, он с детства тянулся к музыке. В первом классе еще мамаше сказал, что пойдет играть на рояле.

Таню Фишер из соседнего подъезда отдали на скрипку, и ее тонкая шея, косички и скрипка в футляре будоражили сердце юного Славика.

Мамаша отвела сына на прослушивание.

– Слух отсутствует. Деревянные ложки, барабан, разве что, – развел руками педагог, усатый дрыщ в отвратном коричневом пиджаке. – Знаете что? – добавил он с энтузиазмом, – вы отдайте его в спорт! Смотрите, какой он у вас крепкий, головастый. Уверен, спортивная карьера подойдет вашему сыну лучше всего!

Славка на боксе отгарабил четыре года. Потом в тяжелой атлетике. Уже в восемнадцать пошел на подпольные курсы карате. От армии его мамаша отмазала – единственный кормилец, чо.

Так что прав оказался музыкантишко. Как в воду глядел, штырь усатый.

Но до сих пор не мог простить Ярый, что вход в мир музыки ему заказан.

Он провожал Таню, носил ее скрипочку, и малейший косой взгляд расценивал как оскорбление действием.

К Тане боялись сунуться даже подружки. А ее бабка всякий раз, открывая дверь, делала такое лицо, будто ждала кого-то другого:

– Подожди, Славочка. Таня еще урок не закончила.

Славка ждал. Влюбленные – они такие.

Но однажды увидел, как его мамаша что-то перетирает с Танькиной бабкой.

О чем там у них шла речь, он не знал, но мамаша выдрала его – молча и беспощадно. А потом прижала зареванную Славкину рожу к груди и вздохнула:

– Так-то сынок. Таня – не нашего полета птица. Не надо тебе за ней ходить. Такая вот педагогика...

Вот тогда-то про педагогику Славка все и запомнил. Крепко и навсегда.

И хотя теперь, когда он вырос большой и красивый, а Танька превратилась в очкастую мышь, теперь, когда он вкатывает во двор на любимой бэхе (ну, вкатывал, совсем недавно), небрежно щелкает брелоком сигнализации и говорит «здравствуй, Таня», а она, как и положено мыши, растворяется в затхлом сумраке парадной, несправедливость мира все равно сыплет соль на кровавую рану в его трепетной и широкой душе.

Сейчас, конечно, смешно, что когда-то он сох по этой просте-господи. Не сравнить с его цыпочками...

А хорошо в кабаке прошлый раз погудели! Как раз напротив Кировского театра. Там раньше гастроном был – огромный, мама маленького Славика водила: кафельная кофейная плитка, запах сладостей и деликатесов...

А сейчас вот ресторан. Солидный: на стоянке сплошь бэхи и мерины, новенькие, в тонировке, смотреть приятно. Внутри – музыка, скатерть белая, холуи снуют. За окном – театральный служебный вход, где вечерами трутся хмыри с букетами, балерин караулят – тоже, как Ярый, знатоки искусства.

Сидишь себе, значит: слева Стелла, справа Жанна, тапер лабает что-то невыразимо прекрасное, за окнами – вечер, и смотришь из своего бело-хрустального великолепия, как человечки, будто листья палые, за окном шуршат. Бегут себе, сырые. В сумках – картошка да килька в томате. Под ноги все больше глядят. Мазнут взглядом на Кировский, и домой...

В Кировском – самые зловредные билетерши.

Он был там три раза: один раз с матерью и два – с классом. И всякий раз бабки, одетые в зеленые сарафаны под цвет кресел, безошибочным чутьем вычисляли в лобастом пацане нарушителя спокойствия и парию в храме высокого искусства. Мораль ему читали вне зависимости от того, делал что-то Славка или не делал. Сейчас бы попробовали, кошелки. Ну-ну.

Ярый взгромоздился в кресло, не заботясь совпадением ряда и места с тем, что написано в билете. Никто не возразил. Это правильно.

Поставил барсетку на соседнее кресло и сделал звонок по мобильному. Мол, не беспокоить. В театрах мы.

Можно, конечно, было и к антракту подъехать, но посидеть в Филармонии это – прикол. Модное слово «прикол» нравилось ему чрезвычайно.

На сцену выкатили пианино. Ярый напрягся.

К счастью, пианист был мужик. Патлатый, во фраке. Долбал по клавишам, даже не глядя. Не парился, попадет или нет.

Настроение испортилось. Заныло под левым ухом.

Старые раны.

Музыкальные предпочтения Ярого со временем изменились: задорные девчонки из группы «Комбинация», всякие там миражи, эмигранты, шансон – это да. Но все-таки, к музыкантам он питал определенную слабость.

Вот скажите, может человек, который только что заключил сделку, прикупив подвальный шалманчик «Лилия», рассчитывать, что имущество этого шалманчика поступит в его распоряжение? Что персонал станет слушать нового хозяина, что все будут вежливы и предупредительны?

И что характерно, никто тебя силой не держит: не нравится – вали, куда пожелаешь.

И вот выходит Ярый из директорского своего нового кабинета, и все ему, понимаешь, рады и готовы служить, и видит он в глубине зала...

Вернее, слышит...

Пианист на сцене шарахнул по клавишам так, что Ярый вздрогнул. Ишь, разошелся. Сбил с мысли, козел.

...Так вот, в глубине пустого зала чудная, нежная мелодия прямо льется, будто дождик по крыше капает – кап-кап-кап. А потом еще так, словно речка журчит, как в пионерлагере, когда они с ребятами сбежали с тренировки...

И видит он со спины, что сидит такая тоненькая вся, только пальчики видно прозрачные, по клавишам черно-белым туда-сюда скок-скок-скок... Волосенки беленькие, кофтеночка серенькая, ручки-ножки тонюсенькие.

Умилился вдруг Ярый, вспомнил детство свое, Таньку, мышь очкастую, которая тогда и не мышь была, а любовь всей его жизни, и такая нежность его охватила – сквозь эту музыку, эту пианисточку безвестную, ну, какое она в жизни, малахольная, видела еще счастье.

Подошел сзади тихонько, за плечи ее приобнял да и поволол в кондеечку. Пусть хоть раз в жизни отведаст болезная любви пацанской, крепкой, горячей...

А у самого словно бы тикает в голове это самое кап-кап-кап... Тоненькие пальчики цок-цок-цок...

Сука.

Вспоминать тошно. Братки до сих пор ржут.

Зал взорвался аплодисментами, патлатый раскланялся. А Ярый совсем расстроился. Встал, забрал барсетку и вышел из зала.

В буфете Миху признал со спины – по банкам джина «Синебрюхов» – очень уж его корешок уважал. За это ему и кличка от пацанов прилипла.

Миха Синебрюхов расплылся в улыбке. Лыба у него была хорошая, хотя крупные верхние зубы делали его похожим на кролика. Но Ярый посмотрел бы на того, кто скажет это Михе в глаза.

Расположились с удобством: сдвинули пару столиков, заказали девочке коньяку, обменялись новостями о знакомых. Кого подстрелили, кто сорвал бабла в казино, кто намотался на столб на Нижней трассе – все, как обычно.

Наконец, перешли к сути дела. Когда Синебрюхов изложил Ярому свою тему, у того даже челюсть отвисла.

– Михе... друг. Я же тебя не первый год знаю. Ты с дуба рухнул?! Зачем тебе этот тухляк? Тебе чего-то не хватает? Может, денег тебе дать? Миш, ты скажи, не стесняйся...

Но Миха мотнул головой.

– Славка, ну, сколько можно на чужом горбу в рай? Я свой бизнес хочу. Мужик я или кто?

Ярый только головой покачал. И изо всех сил давил усмешку. Держался. А ухмылка сама натягивалась на рожу, едва вспоминал, чем закончился Мишкин бизнес номер раз. И как потом пришлось серьезно говорить с пацанами, которые между собой решили звать Миху «ботаник». И как возили к Хирургу зашивать одного языкатого, который сдуру сказал это вслух. И как Мишка зверел, стоило кому-то при нем хоть что-то сказать про травку и про цветочки...

– Мечта у меня, Славка, – продолжал Синебрюхов. – Может, с детства мечта... «Пятилетку» ты окучиваешь?

ДК Последней Пятилетки – его, Ярого, поляна. Но, блин... совсем расстроил его дружок. И под левым ухом опять заныло.

Много, ой много он мог бы сказать другу за мечту. Но ведь с ним, с Синебрюховым, с братишкой названным, они вместе прошли огонь, воду и медные трубы...

Друзей не выбирают. А уж мечту другу обламывать – это совсем не по понятиям получается.

Ярый вздохнул. Встал, хлопнул кореша по плечу:

– Не вопрос, Миша. Можешь на меня рассчитывать.

И вышел. Но на секунду задержался у буфета, улыбнулся официантке и интеллигентно сообщил:

– А коньяк у вас мерзопакостный.

– Здравствуйте! А я тут вам принес кое-что...

Эвелина подняла глаза от огромной, во весь стол, оборотно-сальдовой ведомости.

В распахнутую дверь ворвалась молодость.

Молодость была длинной, лохматой и носатой, носила рубашку в клетку и улыбалась во весь рот.

Улыбка у мальчишки была хорошая – от души.

– Может, подойдет? – спросил он, – ребята сказали, вам жанр тоже можно...

И, не дожидаясь ответа, высыпал на стол, прямо на оборотку, ворох черно-белых фотографий.

Эвелина улыбнулась. Студент, конечно, едва ли больше двадцати.

Она молчала, а парень, окинув взглядом кабинет, стеллажи с книжками, в которые были воткнуты нарисованные фломастером ценники, кажется, въехал.

– Ой, – сказал он. – Вы же не аномалия, да?

Ох, аномалия, милоч, еще какая, подумала Эвелина, сейчас мы тут все аномалии...

Но вслух сказала другое:

– Нет, мы – «Буковки». А «Аномалия-инфо» – такая же дверь, но этажом выше.

За год работы она привыкла быть вежливой: никогда не знаешь, какого Креза может маскировать потрепанная рубашка в клетку. Добавила:

– Кстати, книжки посмотреть не желаете? У нас тоже про аномалии есть...

– Спасибо, – он сгреб карточки и засунул в черный пакет, – может, попозже. Вы извините, ошибся. Я побегу...

– Удачи, – пожелала она совершенно искреннее. Может, получится у парня выгрызть у газетчиков гонорар.

Тот кивнул и исчез.

Аномалия-инфо. Архимагистр черной магии. Гадалка. Кого только тут не найдешь! Все здесь, в ДК имени Последней Пятилетки.

За дверью напротив – веселые бухгалтерши из консалтинговой фирмы «Экскалибур». Слева – кооператоры-радиолобители, на коленке клепающие магнитофоны «Soni». Справа – нотариус Аршибельд.

Мясники и брокеры, АОЗТ с ООО, ИП да ЧП, все рядом да ладком: издатели, агенты, антрепренеры да коммивояжеры... с мороза и не выговоришь.

Солидные компании: тут тебе и Генеральный Директор, и Главный Бухгалтер (все с большой буквы!). Кто побогаче – у того еще секретарша с печатной машинкой есть.

Звонок. Эвелина сняла трубку:

– Издательство «Буковки», главный бухгалтер слушает.

– Шеф на месте? – голос развязный, ни «здравствуйте», ни «пожалуйста».

«Крыша» на пустяки времени не тратит.

А Эвелине по штату положено:

– Добрый день, Ярослав. К сожалению, Дмитрий еще не прие...

Отбой. Вот и поговорили. Ничего, она привычная.

Пока генеральные перетирают да обкашливают бизнес, потеют на стрелках, носят пиджаки да вареную джинсу, главбухи носятся.

И уж этот маршрут Эвелина знает не понаслышке.

Из налоговой – в пенсионный.

Из пенсионного – в банк.

Фонд медицинский, фонд социального страхования, фонд черта лысого в ступе...

Пожарная инспекция, СЭС, комиссия-от-кого-нибудь-по-делам-чего-нибудь...

Бланки, формы, отчеты, платежи.

Бумаги, бумажки, бумажищи.

Очереди.

Облупленная зелень казенных коридоров, обсиженные народом скамьи, стенды с надписью «Инфо», где пестрит от циферок, запах валидола и духов...

В кабинетах – они.

Мутноглазые, снулые, бледные выползны казенного дна.

Бюджетники.

Сидит такая стерва – космы перигидрольные, рот в кровавой ланкомовской помаде (очереди в Ланком на полневского, небось, подогнал кто-то взятку, иначе откуда у нее деньги на Ланком-то?), рот, значит, в помаде, а глаза тусклые. И смотрит на тебя, как на тлю.

Зарплата – в три копейки, зато прямо тут можно вволю напиться кровушки...

Ты ей: Анастасия Валентиновна, да вот же, платежечку я отправила, штампик банка видите? И справочка у меня есть, и у нотариуса три копии зарегистрированы, вот туточки...

Лебезишь, себя ненавидя, а она твои справки-декларации, потом и кровью добытые, из пасти гидры бюрократической выдранные, небрежно так пальчиком ковырнет, а ты сиди, ни жива, ни мертва – примет? Запорет?

Эх, предлагали Эвелине местечко в налоговой – и чего, дура, отказалась? За год беготни главбухом локти себе уже обкусала.

Конечно, грех жаловаться, ей и так подфартило: работа в издательстве, зарплата – не те грустные фантики, что платили в НИИ...

По институту тогда ходил анекдот, как два директора опытом обменивались. Один говорит: я сотрудникам уже и зарплату срезал, и полгода денег не выдаю, а они на работу все ходят и ходят. А другой предлагает: а ты вход на проходной сделай платным.

Не смешно? Зато чисто по жизни.

Родимый НИИ развалился. Она, надежда отдела, вечная кандидатка в начальницы, осталась на бобах. Думала недолго: ноги в руки, и метнулась на скорострельные бухгалтерские курсы.

Жрать-то надо. Причем, прямо сейчас.

Месяц вдохновенного бреда преподавателей, бывшей ВУЗской профессуры, солидный ламинированный диплом и – вуаля!

Новая специальность: «бухучет и налогообложение».

Вместо напутствия – заверение преподов, что в нынешнем законодательстве сам черт ногу сломит, так что бояться нечего, главное, отношения с нужными людьми завести.

Теперь она – главный бухгалтер издательства «Буковки».

Что уж издают эти «Буковки» – к ночи лучше не вспоминать.

Из последних шедевров – «Русское чернокнижие». На вид – солидный черный фолиант с серебряным тиснением, а внутри...

Тут и Эвелина к созданию книги руку приложила, оскоромилась. Не зря в свое время институт окончила: генерального-то ее в Публичку без диплома не допустили, а Эвелина прошла, как к себе домой. И на ксероксе сделала копию дореволюционного издания «Русского чернокнижия».

Копировала – и угорала от смеха над рецептами: «для приготовления отвара возьмите шкуру змеи, обезглавленной в лесу в полдень». Это же как надо исхитриться, чтобы забить со змеюкой стрелку в лесу, дожидаться полудня и отрубить ей голову. Или, может, заранее поймать?

Таких перлов в книжке – зачитаешься. Димчик, директор, прости господи, генеральный, копию забрал, нанял студентку, которая перевела книжку с русского на русский, избавив от «ятей». А потом выпустил солидным тиражом, который теперь мог менять, как душа пожелает.

Димчик Синицын – он такой. Врун-болтун-хохотун, обаяшка и кобель редкостный. В первый же рабочий день Эвелине все стало ясно. Помог телефонный звонок:

– Примите телефонограмму для Синицына, – сказал строгий голос.

– Диктуйте, – Эвелина взяла ручку.

– «Твои поганые чемоданы, сволочь, я выставила на лестницу. Теща».

В общем, жук этот Димчик.

Но платит исправно.

Сам – ни книжки не прочел. На вопросы, как он торгует, если не читал, неизменно парирует:

– А что, если бы я торговал джинсами, каждую пару должен был бы примерить?..

В полуподвале «Бувоков» на струганных стеллажах теснятся впритирку классики и диссиденты. Оккультные брошюры соседствуют с молитвенниками, Кастанеда – с откровениями преподобного Аристоклия, красотки дамских романов – с Хармсом и Гумилевым.

У стеллажей – клиенты. Мелкий опт, очень мелкий опт, книгообмен. Уж на книжников Эвелина насмотрелась!..

Бойкие тетки в пуховиках меняли пачки переводных детективов на уринотерапию. Студенты в складчину, за бартер, душу и подработку пытались выклянчить «Хроники Амбера» и свежие приключения Стальной крысы.

Раз в неделю застенчивый старикан с тележкой притаскивал особые журналы. Со страниц, набычившись, смотрели накрашенные ПТУшницы в стиле «ню».

Архимагистр черной магии Каширян, носатый и бровастый, забегал разжиться тибетскими заговорами.

Всех принимала Эвелина. Главбух – вечный жнец, чтец и на дуде игрец.

Всего сотрудников в издательстве было трое. Как в сказке: двое умных, один дурак. Умные – это, конечно, Эвелина с Димчиком. А дурак – это Артем, соучредитель и компаньон, а по совместительству – Директор По Продажам. Все с большой буквы, конечно.

Намучился Димчик с Темой – не передать. Но это их дела. А у Эвелины своих выше крыши. Она защелкала калькулятором.

Ворвался Синицын – небритый и злой.

– Тема не появлялся?

Эвелина покачала головой.

– Кккозел, – припечатал Димчик. Схватил радиотелефон и сгинул в кабинете.

Вообще-то Тема работать умел. Но как-то запойно: то месяцами вкалывал, как папа Карло: ни есть ему не надо, ни пить – работы давай. Боязно даже за парня становилось – чего надрывается-то?

А потом пропадал – когда на два дня, когда на пять. Возвращался похудевший, злой, и опять принимался пахать, как проклятый.

– У нэго тайный порок, – пророчествовал маг Каширян, – помяните мое слово!..

Сейчас Артема не было четвертый день.

– Не появился? – Синицын вылетел из кабинета.

– Да что происходит, Дмитрий?! – не выдержала Эвелина.

Синицын долго молчал. Она пожалела, что спросила.

– Песец происходит. Маленький пушистый зверек, – наконец, сказал он. И добавил:

– Играет наш Темчик.

– Во что играет? – не врубилась она.

– В казино! – Синицын выругался. – В субботу приехал ко мне. Сам меня попросил, мол, возьми мои деньги, поддержи у себя. Говорит, буду просить обратно – не давай. Гони взашей. А то опять проиграю. На колени, говорит, вставать буду – ни-ни. Иначе – хана. А на следующий день назад потребовал. На такси прилетел. Кровь из носу, говорит, деньги нужны. Козел, говорю, опять все спустишь! А он в ответ: это же мои деньги! Отдал ему, короче и послал. С тех пор – ни слуху, ни духу.

– Я что ему, нянька? – гудел Синицын. – Пашет как идиот, чтобы потом все за один вечер спустить. Большой! Год назад женился на какой-то курице и почти уехал в Израиль! Но умудрился в ночь перед отъездом проиграть все. Включая билет.

– Зато! – Димчик поднял указательный палец, – У него есть Золотая карта!

– Что?

– Золотая карта казино «Антик», – объявил Синицын. – То есть, в любое время суток, в любой день недели, когда Тема опять спустит все свое бабло, казино его, как почетного клиента, торжественно отвезет домой на золотом лимузине. Эту карту они дают самым любимым, самым ценным своим клиентам.

– Ну... как бы вам попроще объяснить, – Синицын задумался. – Это вроде как знак. «Почетный мудака казино «Антик».

Норочка

Санкт-Петербург, 1907 год, весна

Этот город создан для сумасшедших, не так ли? За утренней чашкой какао мадемуазель Руль мысленно беседовала с Норочкой – той, что смотрела из зеркала. Была она недурна: пикантно-округлые щечки, темненькие кудряшки. Улыбка открывала мелкие зубки. Норочке скоро предстояло исчезнуть, чтобы Элеонора могла принять первого клиента.

Кроме трехстворчатого зеркала с пуховками, флаконами, коробочками и кистями, в комнате стояла кровать с горкой подушек да платяной шкаф с реквизитом – от парика цвета вороного крыла до розового боа из перьев.

Шкаф, кровать, зеркало – вот и вся мебель. То ли дело приемная: место, куда люди приходят за чудом, прельстившись вывеской, которой Нора по праву гордилась.

Витиеватое «М» цвета индиго. Имя, сулящее волшебство. «Элеонора Руль» куда лучше, чем «Нора Ребякина».

А ниже, помельче, дописано: «Медиум. Гадания, связь с духами, эманации эфиров. Строго по записи». Последняя строчка – специально, чтобы бойчее шли.

Немного огорчало соседство галантереи. С другой стороны, зайдет за перчатками дама, и тут же увидит – медиум!

Нора потянулась за шоколадом, с неодобрением оглядела руку. Малюсенькая, пухлая, совершенно не подходящая для ношения опалов и аметистов. И ногти плоские. Кряква!

Клиентов принимала в перчатках. «Дабы не потревожить силы, которые могут впитать жизненные эманации через кожу». Но сейчас, по утреннему времени, можно по-простому, без перчаток и париков.

Только сейчас. Потому что если ты – мышка серая, кто различит тебя в этих гранитах? Сольешься с камнем, растворишься навек, и не спросят – кто это там шуршит да брякает?

Пусть душа твоя – чернильная птица полета нездешнего, но, увы, ничем не приметна ты среди остальных: лавочников, купчих и рассыльных. Разница в том лишь, что им-то – нравится. Разве чтоб жалованье побольше, работы поменьше, и начальство кондрашка хватил, а так – ничего. Можно жить.

Вздых. Пухлая лапка тянется за газетой. Желтоватый бульварный листок, по копейке за штуку.

Объявление в половину разворота: «С большим наслаждением и увлекающим интересом во всей Европе каждый читает о гениальных похождениях и приключениях знаменитого сыщика германской тайной полиции Шерлока Холмса и известного авантюриста под именем «Тайна красной маски»... скука. Даже в альбом нечего вырезать.

«Тело гимназиста С. вытащили из Фонтанки» – божечки, опять! Бедные, бедные мальчишки! Как весна, обязательно кто-нибудь вниз головой нырнет – лучше уж так, чем на третий год в одном классе оставаться. У них там высшая математика, латынь с древнегреческим – да она бы сама с моста кинулась от этой науки...

Перевернула газету.

На обороте – реклама белья. В самом низу, в черной рамке какой-то несчастный Бобриков сообщает о смерти незабвенной жены Евдокии Иосифовны, и тут же – бойкое объявление для покупателей готового платья: «выгадываете 25 проц»... Тощица, божечки мой!..

Ресторан «Ренессанс» зазывает в бильярдные кабинеты. Пожар в Карантинной гавани. Пепелище, мертвец... хорошо, пригодится. И совсем рядом.

Норе не нравится гавань.

Жить бы поближе к центру. И чтоб кондитерские под боком да дома с витражами, с мозаикой, с совами и девами над карнизами, с узорами сон-травы да кувшинками – из тех, что сейчас на Петербургской стороне строят. Жить бы в таком доме, возле моста: ажурного, с фонарями, делать променады в новом муслиновом платье. Глядишь, вместо кумушек пошли бы к ней иные персоны...

Вот есть же при полиции пожарная да санитарная часть. И даже для срочных родов отделение есть. А Норино дело – такое же срочное. Утешение людям нужно да надежда...

Взгляд в газетный листок. «Новое вставление зубов весьма дешево без металла, без колец, без крючков и без зацепки к другим зубам». Бррр!

Листок скользит на пол.

Взгляд в зеркало. Брови густые, под ними – юркие мышки глаз. Пальцы придирчиво ощупывают лоб и щеки – не наложить ли крем? До чего сохнет кожа от этой вашей пудры.

Как быть, если мало тебе обрыдлого мира, и мнится, есть за ним еще мир, и еще, словно отражения в коридоре зеркальном, и есть в этих мирах все, о чем мечталось и грезились?..

Лишь однажды распахнулись ворота нежданного, да и то на минуточку, на чуть-чуть. В шкафу лежит камушек напоминанием о том дне...

А что до пошлых страстей, так это когда некто низенький, круглый, да еще с фамилией Мякишев декламирует Фета и шепчет, что никогда так сердце не трепетало, послушайте – здесь и вот здесь. Так это не то совсем. Божечки, до чего же не то!..

А в бесконечных эфирах плавают духи. Тянут, как Мойры, нити судьбы белозубые цыганки. За грош да браслетик серебряный рассказывают такое! Куда там кругленькому Мякишеву с его сердцебиениями. Им и поверишь: в дорогу дальнюю, в страдания неземные, в страсти запретные да белое пламя, за коим – могущество до доски гробовой.

И кто теперь вспомнит, что первый порыв пройти зеркальным коридором в остывшей баньке на даче у Зиночки Михельсон был по столь нелепому поводу: взглянуть, покажется ли меж зеркал негероический фас, владелец которого, смешно вспоминать, на целое лето поселился в Нориных снах?

Но вспыхнули свечи по краям зеркал. И будто бы факелы запольхали в лабиринтах подземной пещеры. Глянули на Нору глаза иные. И голос, словно бы из глубин, все силился что-то сказать, да не смог...

Визжали они так, что проснулись все лахтинские дачи. Нора – от страха с восторгом, Зиночка – за компанию. После украдкой вернулась в ту баньку да подобрала в каменке уголек. Показалось, что светится. Камешек синий – ее талисман, и еще альбом, но нет там стихов да открыток, в нем – иное...

Топот босых ног в коридоре.

– Мамзель, тут к вам-с. Эта... – Федька, сын здешней кухарки, высунулся из-за ширмы и скорчил плаксивую рожу.

Нора вздохнула. Работать, опять работать...

– Впусти в приемную. Скажи, благоволите, мол, подождать. Госпожа закончит обряд и будет.

Голос у Норочки тоненький, звонкий. Таким только с булочником разговаривать. Для клиентов другой.

Голова пропала. За дверью послышалось:

– Мамзель наряжаются. Обождать надо.

Вот чучело конопатое! Все перепутал. Впрочем, и в самом деле надо одеться.

Остановилась у шкафа, задумалась.

Но как же славно, что город соткан не только из сумасшедших, но и из тех, кто желает сойти с ума...

Что же надеть? А, не все ли равно. Если клиентка так рано приперлась, хоть в халате выйди – ей ладно будет.

Видать, припекло.

Гостья ожидала в кресле, испуганно косясь на портреты. Еще бы. Они – венец Нориной изобретательности.

А шельмец ловко изобразил! Нора прикусила губу, чтобы не улыбнуться, и прошла к столу.

Эта клиентка всякий раз приходила в шляпке с вуалью, «дабы блюсти инкогнито». Божечки, да хоть в гардину ты завернись, тебя увидишь – век не забудешь. Сама, что твой дирижабль, идет, как гусыня на выпасе, все вперевалочку, шлеп да шлеп.

Вуаль у нее. Инкогнито она. Перчатки можно закладывать, что сейчас будет реветь.

Нора бросила на гостью пронизательный взгляд. Та сжалась. А она почувствовала себя великаншей, хотя и ростом, и уж тем более статями, мадам превосходила ее раза в два. Но здесь, в своем царстве, была Норочка госпожой.

Водрузила на стол хрустальный шар и принялась зажигать свечи.

Приемную свою она обожала. Все здесь было красиво, таинственно и пугающе: от портретов на стенах до реторт с загадочным содержанием. В склянках с притертыми крышками хранились снадобья, по большей части купленные в зеленой лавке – но клиентам знать о том не положено. Колокольца над дверью позвякивали от движения воздуха, а тяжелые шторы даже в солнечный день дарили необходимый для таинства полумрак.

Более прочего гордилась Элеонора умением увидеть магическое в простом. То, с каким благоговением брала она в руки ветку полыни, сломленную во время случайной прогулки, любовно рассматривала сушеные репья, снятые с дворового пса, заставляло и клиентов относиться к предметам с почтением и опаской.

Вот лорнет с обломанной ручкой – ах, знали бы вы, при каких обстоятельствах треснул стержень слоновой кости! А этот камень в полночь, в грозу, был отколот с надгробия черно-книжника Брюса...

Зажгла последнюю свечу и обратила взгляд на клиентку.

Эх, не с кем было держать пари. Озолотилась бы! Сейчас заревет.

Дирижабль не подвел:

– Вы не представляете, – произнесла мадам дрожащим контральто, – какой сон я сегодня видела! Сам! Сам пришел!..

– Я ему говорю, проходи, милый друг, садись за стол, под образа, а он не идет... и бочком так, знаете. С краешку-то присел. На табуреточку. На та-бу-ре-точ... – всхлип, еще один, и вот уже ниагарский поток изливается в декольте.

– На табуре... точ... кууу....

– Молчите! – зычно приказала Нора. – Здесь говорят только духи!

С клиентками – только так. Голосом низким, идущим будто из живота. Чем гуще голос – тем пуще верят.

Мадам испугано вжалась в кресло. Возник носовой платок, жемчужины на белом зубу перестали дрожать.

Все. Клиентка готова.

Нора взяла хрустальный шар и прикрыла глаза.

– Вижу огонь... вижу боль. Дым... треск! – Нора закатила глаза, – смерть! – и взглянула в упор на клиентку.

Гусыня сидела, ни жива, ни мертва: полные щеки побледнели, в глазах застыл ужас.

– Прошлое... совсем близко... дым. Вчера! – сказала Нора.

– Батюшки, – прошептала клиентка. – Истинно! Был пожар, был, с утра дымило еще, я-то Агашке и говорю: ты белье-то хоть бы сняла, провоняет белье-то дымом!.. а потом-то узнала, что это в гавани...

– Тише! – перебила Нора. – Слушайте!..

Мадам испуганно замолчала.

Нора прикрыла глаза и продолжила сеанс.

Вдовы были любимой ее клиентурой. Ведь не только сильным мира сего требуются услуги провидцев. Знать свою судьбу охота и тем, кто помельче плавает. К услугам особ светлейших – господа Папюс да Филипп, а мещанок приветит она, Норочка.

Для вдов вызывала почивших супругов, и редко какой дух не упрекал жену в давней интрижке.

– Все знаю, – вещала она, – отсюда мне все теперь видно!..

Вдовы краснели, зарывали в ладони лицо и оставляли гонорар, чтобы госпожа медиум как-то задобрила, что ли, недовольный дух дорогого покойника.

Сегодняшняя клиентка, хоть и была изрядной плаксою, нравилась Норе – платила исключительно щедро. И, как обычно, покинула ее в счастливых слезах облегчения.

Богатая нервная вдовушка – побольше бы таких...

Только мадемуазель раздвинула штору, чтобы полюбоваться, как дирижабль поплывет по улице прочь, как услышала за спиной деликатное «кхе-кхе».

Господин был с усами и в черном. Будь она хоть капельку суеверной – сочла бы за дурной знак. Но предрассудками не страдала – предложила клиенту сесть, и сама опустилась напротив на низкий пуф.

Оба молчали.

Из открытого окна потянуло конским навозом.

Что ему надо?.. На священника не похож. Хотя однажды к Норе и батюшка забредал, хотел провести с ней обряд экзорцизма. Пол-самовара чаю выкушал и фунт пастилы. Бесов не обнаружил.

Гость, устроившись в кресле, с любопытством изучал комнату. Особо портреты разглядывал. Усмехался.

Нора поджала губы.

Здесь не шутят. Здесь почтительно внимают духам. Что бы ни требовалось черному господину, она сдерет с него вдвое, чтоб не хихикал без повода.

А клиент солидный; осанка, взгляд... кошелек, небось, набит туго. Зачем пожаловал? Чутье подсказывало, что лучше дожидаться, когда посетитель сделает ход.

Наконец, он созрел.

– Мадам, – начал он.

– Мадемуазель, – уточнила Нора.

– Мадемуазель? – господин просиял, – так это же совсем другое дело! Я уверен, вы меня поймете.

Нора достала папироску, вставила в мундштук и закинула ногу на ногу. Гость ястребом метнулся подносить огонек.

– Мадемуазель, я безнадежно влюблен. Предмет моего обожания зовут...

– Не надо имен, – перебила Нора. – Духам они без надобности.

И потянулась к хрустальному шару.

Незнакомец крякнул. Достал бумажник:

– Сударыня, у меня к вам дело. Маленькое дельце, только смиренно прошу духов чуть-чуть подождать.

Нора хотела было обрезать нахала, но... промолчала. Бумажник действовал на нее успокаивающе.

– Видите ли, – продолжал гость, – дело довольно деликатное, даже не знаю, как и сказать...

Он достал из кошелька несколько ассигнаций и принялся тасовать, будто карты. На пальце поблескивал перстень в виде адамовой головы.

– Вы – умная женщина, – сказал он. – Я понял это с первого взгляда.

Нора не возражала.

– Поэтому я с вами – как на духу.

Нора подняла бровь.

– Но дело в том, что вы еще и прекрасная женщина...

Нора подобралась.

– Женщина умная, чувствительная и способная понять сердце мужчины...

Да что ему надо-то, божечки, подумала Нора в смятении. Пробасила:

– Милостивый государь, вы, кажется...

– Ах, нет! Нет и нет! – гость так замахал руками, что выронил бумажник, и верткие ассигнации разлетелись по комнате. Пока Нора следила за их полетом, он продолжал:

– Я влюблен. В прекрасную женщину. И на грани отчаяния.

– Так, – протянула Нора.

– Я не в праве просить вас, могу только смиренно, нижайше молить... Возможно, она вскоре придет к вам. Возможно, задаст вам вопрос, и от ответа, поверьте, будет зависеть вся моя жизнь. Я в отчаянии. Почти готов наложить на себя руки...

Ну, это уж ты загнул, подумала Нора, глядя на его самодовольную физиономию.

– И вот я лечу к вам. Слава о вас гремит, если можно так выразиться, по всей округе. Я, видите ли, далек от всех этих материй, низко, так сказать, летаю, но навел справки. Мне рекомендовали именно вас.

Каков льстец, подумала Нора и слегка покраснела.

– Не могли бы вы дать моей возлюбленной ответ... гм, в мою пользу?..

– Сударь, – Нора встала. – За кого вы меня принимаете? Вы полагаете, что я могу вершить чужие судьбы? Что я могу сама, вместо духов, давать ответы?! Неужели вы думаете, что в моей власти...

Голос ее окреп. Пламенная речь мадемуазель Руль исчерпывающе дала понять дерзкому незнакомцу, что:

а) медиум собой не владеет,

б) духи – не дрессированные медведи, чтобы плясать под чью-нибудь дудку и, наконец,

с) кажется, ее, Элеонору, принимают за болтунью, которая может молоть языком все подряд...

Распаляясь, она даже решила, что сейчас кликнет в окно дворника и прогонит нахала взашей, чтобы не смел портить своим глупым весельем мистические эманации этого места.

– Нет! – прогремело в ответ. – Нет и еще раз нет!

Посетитель тоже встал и оказался на две головы выше Норы.

– Нет, говорю я вам! – и, не давая ей опомниться, перешел с аллюра в галоп, с рекогносцировки – к атаке, да так резво, что она не успела вставить и слово:

– Я знаю, что вы – избранная. Духи выбрали вас, только вас. И я смиренно склоняюсь перед величием вашего дара!

Он и вправду наклонил шею, явив черную макушку с едва заметной круглой проплешиной, которая, как мстительно отметила Нора, намекала, что и этим буйным кудрям суждено вскорости облететь. Это как пить дать – тут и медиумом быть не надо.

– Сударыня, – гость мягко взял ее за руку, – ну, вы же знаете духов. Вы же, можно сказать, с ними на дружеской ноге. Что вам стоит вызывать для моей возлюбленной кого попокладистей? Вот хоть блаженную какую с доброй душой? Нешто вам жалко? А то придет какой-нибудь Малюта Скуратов и брякнет – иди в монастырь! А она особа чувствительная, возьми да послушай. Тут я и пропал. Две жизни, два сердца сейчас в ваших прекрасных руках. Вы же провидица! Властительница иных пределов...

– А как я узнаю вашу пессию, позвольте спросить? – ехидно ввернула Нора. – Здесь мы обходимся без имен. А прекрасных дам у меня перебивало, – она закатила глаза.

Гость открыл рот и тут же закрыл. Глаза цвета каштана на секунду утратили выражение, словно бы владелец ушел куда-то вглубь, как в погреб за бутылку вина, коего, безусловно, он был большой любитель, несмотря на строгий костюм.

Пауза длилась недолго.

– А пусть у нас с вами будет пароль! Моя визави обязательно скажет эту фразу – тут вы ее и узнаете.

– Какую фразу?..

– «Любовь есть начало и конец бытия», – провозгласил гость.

Нет, ну каков жук, подумала Нора. Как он заставит-то свою коровенку запомнить?..

Позже, намного позже, вне сна и бодрствования, вне времени и пространства, будто в насмешку, всплывет в короткую Норочкину память этот эпизод. И ясно вспомнит она некий укол, словно бы слева, в сердце, как предостережение, короткое «нет», идущее не от ума, от тела... была ли то фантазия или предчувствие – кто теперь разберет? Но это будет потом, в лабиринтах чужих, намного, намного позже...

А сейчас госпожа медиум думает так: кому, как ни ей, устроить счастье влюбленных? Тут и к гадалке ходить не надо: жених видный да хваткий. При деньгах и дамочку любит. Чего же желать?

Теперь держись, жучара!

Сколько же содрать с тебя за услугу?..

Отель «Пингвин»

Питер, девяностые, весна

– Обживаешься? – Боцман просунул лысую загорелую башку в дверь, – можно?

Николай кивнул. Спал он рвано: от самодельного топчана, покрытого старым матрасом, несло солярой. Верблюжье одеяло кололо морду, когда он по привычке закутывался башкой.

Люди делятся на две категории: одним, чтобы спать, надо укутать ноги, другим, как ему – голову. А если голова трещит от двухсуточного недосыпа, а одеяло колет щетиной в лицо, то спросонья кажется, что это пришел целоваться старый деда Митяя кот по прозвищу Бригадир.

И пока отпихиваешься от его колючих усов, продираешь глаза. И садишься на койке, вспоминая, что Бригадир уже года три как когтит деревья на райских лужайках, и под теми деревьями сидит теперь и сам дед Митяй в старом кресле-качалке и сквозь очки, подвязанные резинкой, читает какую-нибудь райскую «Правду» или райский же «Труд»...

Нет Бригадира, нет деда Митяя, и тебя, может, Коля, тоже нет...

Кстати, где ты? Окидываешь взглядом нору, похожую на чулан, и пытаешься сообразить, куда тебя занесло.

В КПЗ? В подвал к браткам, которые вышли перекурить, чтобы потом опять взяться за твоё воспитание? И тут же чуешь качку, замечаешь иллюминатор, а в нём – рябенькое непроспанное небо и понимаешь – кажись, живой.

Ночью проснулся – да не просто, а подскочил на кровати, когда взвыло. До печенок пробрало, до стука зубовного.

Едкий, как кислота, то ли гудок, то ли вой. Не разберешь, откуда: с берега или с буксира, а может, вовсе из-под воды.

Сперва показалось, собаку режут. Но ни собака, ни одно существо – хоть обезьяна, хоть слон, так голосить не могут. Подумал – может, сирена? Подумал – это что-то живое. И тут же стихло.

– Ночью сирена какая-то выла, слышал? – спросил он у Боцмана.

– Выло, точно, – откликнулся Боцман. – Только вряд ли сирена... есть у нас на этот счет свои версии.

Боцман был неприлично бодрым: умытая и побритая рожа блестела, не говоря уж о лысине, зубы белели, что твой начищенный унитаз, от полосатой тельняшки рябило в глазах и даже «Шипром» несло за версту.

Жаворонок, как пить дать: проснулся с утра и чирикает:

– Значит, так. Галюнь – на баке. Кстати, завтра твоя очередь его мыть, – радостно сообщил он. – Ссать за борт не приветствуется: у нас тут дамы, как видишь. «Граждане пассажиры, будьте взаимно вежливы и предупредительны», – продекламировал он голосом диктора из метро. – Да ты чего такой кислый? Умываться давай, потом жрать будем... Людка вчера таких ништяков натащила: пальцы оближешь...

– Сейчас, – сказал Николай. – Распакуюсь, и сразу...

– Ладно, обживайся, не буду мешать... Пара слов только, чтобы не было, гм, недопонимания. Немного нас тут, и правила, в общем, простые: кто что умеет, тот то и делает. Я – по механике и общему ТО. Женщины по хозяйству. Если попросишь – могут подстричь или пуговицу пришить. Но не злоупотребляй. Лучше сам. Ринат – тот рукастый, если башмак порвался или дверь развалилась – починит влет. Тетушка Борджиа готовит прилично...

– Тетушка Борджиа?

– Ядвига, в смысле. Не вздумай при ней ляпнуть...

– А почему Борджиа?..

– Узнаешь, – Боцман подмигнул и вдруг стал серьезным. – Женщин не обижать: ни словом, ни делом. Особенно Люду. За Ядвигу не беспокоюсь, она сама кого хошь обидит. А Люду не трогай.

– У тебя с ней?.. – зачем-то ляпнул Николай.

– Нет, – строго сказал Боцман. – В эту сторону даже не думай, понял? И Ринату лишних вопросов не задавай: захочет-расскажет... Короче: все в одной лодке, пока так. Понял?

– Понял. И давно вы тут... в одной лодке?

– А кто как. Я дольше всех. Ринат осенью появился, потом Ильич Ядвигу привел, Людку – уже позднее... ты сам по какой части? Что делать умеешь?

– Инженер-электрик.

– Электрик?! Та ты ж мой родной! Дык меня тебе силы небесные подослали! С электрикой-то у нас самый швах... Движок еще как-то где-то я сам, а электрика... сегодня глянешь? А то я один задолбался уже. Ринат ниже палубы никогда не спускается. В машинное отделение его и под наркозом не затащишь... и, знаешь, я его понимаю. Я б после такого тоже... гм.

Николай не стал спрашивать, после какого «такого» Рината не затащишь в машинное отделение. И почему Люду обижать нельзя, а Ядвигу – можно, но потом пожалеешь.

И еще сто вещей не спросил он, потому что не собирался тут оставаться настолько, чтоб узнавать все тайны-секреты.

Ему бы недельку перекантоваться, а когда поутихнет, решить, куда дальше жить... А сейчас хотелось, чтобы Боцман свалил побыстрее. Тут и одному-то тесно, не то, что двоим...

И Боцман, кажется, понял.

– Ладно, осваивайся. Уже ушел. С утра и поговорить не с кем: все злющие, как филины с перепоя, а Людка с ночи на работу ушла. Что за люди: утро такое хорошее, а они вот!..

И вышел, прикрыв за собой дверь.

Николай заправил топчан, сел на пол, на койку поставил рюкзак. Он, как прибыл, даже распаковываться не стал – сразу спать завалился.

Вывернул рюкзак на кровать и удивился. Собирался в спешке, из одежды покидал свитер, джинсы, рубашки. Документы схватил и деньги, немного, но все, что было. Остальное впопыхах покидал.

Вся тридцатипятилетняя жизнь в одном рюкзаке. Остальное – болгарка там, шапки-ушанки, шкаф с книгами, холодильник, новая железная дверь. Ну на фига, спрашивается, на нее столько денег выкинули?.. Эх, Алиска, дурища. И ты, Коля, дурак...

Ладно, что там у нас еще?..

Дальше почему-то из рюкзака сплошь посыпались круглые вещи.

Три круглых магнитофонных бобины – ну малацца, куда ж без Высоцкого, без БГ и сборника Визбора?.. Интересно, где он найдет магнитофон?

Две жестянки тушенки – правильный выбор. Это надо в общак сдать. Килька в томате и морские водоросли – дурак, не заметил, не стоило тащить. Ладно, и это сожрем – тетя Борджиа приготовит... почему все-таки Борджиа?..

Жестяная коробка с дедовыми медалями: не мог их оставить. И еще что-то круглое, неудобное, что всю дорогу стучало в спину. Это, конечно, дедова хреновина. Он называл ее так с тех пор, как Алиска раскопала на антресолях.

Хреновина была круглой и золотистой. Смотреть на нее без отвращения Коля не мог. Слишком много вокруг намоталось: дедов бред перед смертью, Алискины планы наполеоновские, скандал, с которого все началось...

И вот теперь дед Митяй чешет на небе серую спинку коту Бригадиру, Алиска обратно к маме свалила, квартира дедова, она же Колина, пустует пока, и возможно, что скоро займут ее пиратским порядком другие и наглые, которым не писан закон, и нет никакого царя в голове, кроме Великого Бабла... Коля – вот он, на ржавой барже, тоже пиратским порядком, спасибо Ильичу, а дедова хреновина лежит себе, как ни в чем не бывало...

Помирал дед тяжело. Несколько дней без памяти был, а напоследок вдруг прояснело. Николая узнал, попросался. И кое-что сказал. Чемодан, говорит, на антресоли есть. Старый. Ты его не выкидывай. Там ордена, фотографии. И еще одна вещь.

– Ты, Коля, лучше ее спрячь. Злая она, нехорошая. Вода-то помнит... плот горелый...

И залепетал про воду, про старую липу, про рыб... всего и не вспомнить. А потом в глаза Кольке глянул:

– Вот и конец пришел Митьке-бродяге... а ты ее никому не отдавай. Храни. Спрячь так, чтобы никто не нашел.

Ну что, деда, глянь со своего облачка: Колька сделал, как ты велел. Спрятал, можно сказать. И сам спрятался.

Тогда он значения дедовым словам не придал: думал, бредит, он много еще говорил: про войну, про пожары, про бабушку...

Как помер – Колька и думать об этом забыл. Дед был мировой, любил он его, и жалко было, сил нет. Воды почему-то всю жизнь боялся до ужаса. Знал бы, как у внука дело-то обернется – может, и вовсе не сказал ничего.

А Алиска ухватистая была. Он без претензий: когда надо, поддержала, рядом была, слова поперек не сказала – настоящая боевая подруга.

После похорон сразу жениться, конечно, не собирался, но стали вместе жить: она-то из Нижнего, на съемной хате мыкалась, продавщицей работала. Как пришла, сразу холодильник новый сообразили, дедову мебель во вторую комнату задвинули до поры...

Месяц-другой прошел, мил-подруга и говорит, что пора, мол, старый хлам разбирать.

Николаю тяжело было – он в этой хате с детства, мальцом еще каждый уголок, каждую вазочку, каждую фотку в рамке наизусть знает. А для нее это все – старый хлам. Выбросить, ремонт сделать, и жить-поживать да добра наживать.

Она сперва про каждую вещь спрашивала: выбросить? Или оставить? Николай рукой махнул – делай, как знаешь.

А она влезла на антресоль.

– Ой, – пищит, – Коля! Это что, золото?!

– Где взяла?

– Да вон, чемоданище, там много всего.

Тут Коля и вспомнил, что дед говорил. И вправду, старинная вещь. Не часы, не компас. Литой круглый диск, резьба ладная, стрелочки. И клеймо в виде морской звезды. А мил-подруга заладила – золото. Потащила в скупку.

– Не золото, – ответили ей. – Но антиквариат. Хотите, возьмем на реализацию?..

– Знаю я их реализации, – ворчала Алиска. – Подменят да сопрут. Лучше по комиссиям пройтись... или в газету объявление дать? Сейчас появились, такие, знаешь, купи-продай...

– В газету? А ну как по наводке по телефону вычислят квартиру и обнесут?

– Да что тут обносить-то, оспадиини!

– Не надо в газету, – твердо сказал Коля. – Дед сказал: пусть лежит.

– То есть, дед с того света командовать продолжает? Знаешь, Николаша, я за тебя замуж хочу, а не за твоего деда.

И сделала по-своему.

Может, тогда все и завертелось? Слишком много власти взяла. Насела, пошла командовать. Официантом, говорит, работать иди...

Ладно, это все лирика. Он потер ладонями заросшую щетиной морду. Закинул вещи обратно в сумку, и вышел, приложившись о переборку башкой.

На палубе было ветрено. Баржа торчала метрах в трехстах от берега – захочешь прогуляться, иди к Боцману на поклон.

Слева взвыло густым, сочным басом. Баркас «Шлюзовой»: на флагштоке туго натянутый флаг – крестовый. Сам баркас – прям щеголь: черный низ, вырви глаз желтая надстройка. Босой, в майке, мужик вышел на палубу, подсмыкнул штаны, плюнул вниз и скрылся обратно.

Прямо по курсу – неряшливый берег, старые гаражи и раздолбанные бетонные плиты. Кучи щебенки и песка. Зеленые от ряски сваи, тухлые заводы меж причалов. По акватории, сколько хватает глаз, лодчонки и катера.

Запах – свежих огурцов и соляры.

Полустертая надпись: GO VEF (далее не видно) SLOW. «Тише ход»?

Он прищурился: на берегу два кота с вертикальными, как сабли, хвостами шакалили завтрак у рыбаков. Один доброхот кинул что-то, и коты тут же свились в дерущийся клубок. Судя по жестам, рыбак сокрушался: дал оглоодам покушать.

Мягкий плеск волны в борт. Скрежет за спиной – кто-то открыл дверь надстройки. Но шагов не слышно.

Николай обернулся.

Возле двери, вцепившись в ручку, стоял мужик: коренастый, широкоскулый. Ринат, наверно, кто же еще? Оранжевый спасательный жилет доходил ему до колен.

Неудобно же: жилет тяжелый, раздутый от пробковых вставок. Узкоглазая физиономия Рината была сейчас оливковой, с явным оттенком в зелень. Он стоял, прилепившись ладонями к переборке, переводя дух.

Николай поздоровался. Ринат кивнул. Мазнул взглядом Коле за спину, и часто-часто заморгал, словно в глаза попал песок.

Невежливо повернувшись спиной, по стеночке, маленькими шагами пошел вдоль переборки. Как канатоходец, которому каждый шаг дается с трудом.

Еще бы – в таком-то жилете! Как можно по доброй воле влезть в эту штуку?

Шквал с берега взъерошил волосы. Ринат замер и щекой вжался в стену. Скрюченные пальцы добела вцепились в железо, а лицо из оливкового стало зеленым – еще секунда, и чувак бухнется в обморок.

Коля подскочил:

– Ты как?

– О'кей, – выдавил тот, – я о'кей, все о'кей, – и кивал, как китайский божок.

– Проводить тебя? – ляпнул Николай.

Но он обрадовался:

– Да-да, тут близко.

Еще бы не близко – семь шагов до борта, двадцать – до кормы. Так и пошли: слева Ринат, вжимаясь в стенку, справа Коля, заслоняя ему обзор на рябую воду.

У галюна расстались – дальше сам как-нибудь разберется.

Николай вернулся в каюту. Хотелось жрать. Он прихватил консервы и пошел искать камбуз.

Камбуз нашелся по запаху. Он постучал и вошел, держа перед собой банки, как белый флаг.

На камбузе колдовала Ядвига.

– Дружочек, – каркнула старуха, – валите прямо сюда!

Николай поставил жестянки на стол – вернее, на школьную парту, неизвестно как занесенную на камбуз. Огляделся.

Рукомойник, пара кастрюль, пузатый начищенный чайник, мятый огромный бак с надписью «Питьевая вода», самодельная полочка, на ней – трехлитровые банки с лапшой и перловкой, фанерный шкафчик, дуршлаг на гвозде...

На столе – алюминиевые кружки и миски. Справа от рукомойника – раздаточное окно, выходящее в кают-компанию – крошечную, но с большим столом. Над оконцем – плакат с певицей Сандрой.

Сквозь окно виден кубрик. На диване сидит Ринат – без спасательного жилета, в тельнике. Цветастая косынка на макушке, морда нормального цвета. Улыбается, строгаёт какую-то деревяшку длинным ножом. Пират, как есть. С водобоязнью? Ну-ну.

Дробный топоток под столом. Ядвига споткнулась и выругалась:

– Псякрев! Кокос, не путайся под ногами!

Интересное имя для кота, решил Николай, но вместо кота оказался кролик. Белый, а ухо – черное. Деловито обнюхал ему башмак и скрылся под шкафчиком.

Старуха склонилась над котлом; иссохший птичий профиль почти касался парящей жижи. Туристический примус «Шмель» испуганно пыхнул, когда смуглые пальцы, похожие на ветки, ловко вцепились в ручку регулировки.

Бежевая блуза с воротником-стойкой, застегнутая до последней пуговицы, с камеей на впалой груди, делала Ядвигу еще тоньше и выше. Полы черной юбки взлетали всякий раз, когда она стремительно поворачивалась.

Пахло варево грибами, хотя тут, в гавани, грибам взяться было решительно неоткуда.

– Мамаш? Долго еще? – башка Боцмана просительно засунулась в дверь, – о, и ты тут, – подмигнул Николаю, – а что, жаркое сегодня будет?..

Ядвига выпрямилась и вскинула бровь. Сверкнули ледышки глаз. Седая коса, обернутая вокруг головы, блеснула серебром, давая недобрую иллюзию движения, будто на лбу у старухи прикорнула змея.

– Сгинь, холера, – сказала она спокойно.

Башка Боцмана исчезла.

Из обширных юбочных складок старуха извлекла спичечный коробок, открыла, достала травку и поднесла к носу, будто собираясь заложить понюшку табаку. Но передумала: сухие крепкие пальцы растерли щепоть и швырнули в кастрюлю.

Примус взволновано чихнул, варево булькнуло, и на камбузе запахло щами: свежими ленинградскими щами на крепком курином бульоне, с похрустывающей капустой и деликатной оранжевой искрой тонко потертой морковки. Николай сто лет таких не ел. Слюнки так и потекли.

– Дружочек, – глубокий голос тетушки Борджиа звучал, как рында. – Просите товарищей жрать...

В слове «товарищи» звучала издевка.

Тая

Санкт-Петербург, 1907 год, весна

Скрип-скрип перышком по листу. Стук-стук сердечко. Куда так стучишь, окаянное! Учитель услышит, погонит к доске – только и ждет, кого сцапать.

Жарко. Воздух в классе густой, как кисель. И окна закрыты, чтобы ни муха, ни корабельный гудок, ни вжиканье точильщика во дворе не отвлекали воспитанниц от занятий.

Шерстяное платье промокло подмышками. А пальцы потолстели, еле шевелятся.

Последний урок.

Соня Бузыкина на второй парте ртом, как рыбка, воздух хватает. Ее платье тонкое, из дорогого сукна. Подмышками сухо, а белоснежный воротничок не стоит вокруг горла колом, норовя придушить.

Соню в гимназию возит бонна, перед этим, конечно, напоив какао с бламанже. А у Таи на завтрак – пара печеных картошек.

Здорово бы один день прожить так, как Соня. Но только с утра.

Потому что ни бланманже, ни мороженое не променяет Тая на весенние вечера, когда прочие гимназистки сидят по домам или гуляют под ручку в двориках за оградой...

А Соня, глядите: ротик открыла, а вдохнуть не может. И глаза закатились. Сомлела.

Ей можно, она создание нежное. О том ее папенька сразу предупредил.

Отец Сони – из попечителей. Поэтому нежное создание историк сейчас поручит заботам классной дамы, а создания обычные останутся здесь, в духоте.

Дверь хлоп! Это учитель с Сонечкой вышли.

Класс зашумел, запищал. Стук парт, возня и смешки. Можно встать и вздохнуть полной грудью. Даже стены как будто раздвинулись.

– Ай! – кто-то больно дернул Таю за косу.

Обернулась – девочки с задней парты в окошко уставились.

Тая смолчит, не впервой. Она же не нежное создание. Села на место – глядь, на доске уже кто-то вывел мелом заглавное «Е» и стрелой пронзенное сердце. Ух, историк рассердится!

Дерг! – и хихиканье за спиной.

Слезы на глаза, до чего обидно. Но Тая не обернется. Потому что она не только не нежное, но еще и бесплатное создание. И учится здесь благодаря заботам таких, как Сонечкин папа.

Если бы не голос, то в гимназию ее, конечно, не взяли бы. «Так ангелы божию поют», говорила мадам попечительница, поднося платочек к глазам. Когда Тая поет, так мало значат щипки да придирки; есть только голос да вольное небушко, и ни гимназистки, ни учителя над ней не властны.

– Продолжаем! – это историк вернулся.

На секунду застыл, глядя на доску.

Замер и класс. Тая видела, как напрягся затылок учителя – сейчас закричит! На всякий случай даже дышать перестала.

Небрежным жестом он стер с доски:

– Открыли тетради...

Ух. Отлегло.

Душно. Чуть-чуть потерпеть. Бисером влага над верхней губой. От старания облизнулась – соленая. И этого от вкуса будто бы раздвоилась.

Одна Тая остается на месте и неуклюжими пальцами выводит в тетрадке. Другая мчится, как резвый дельфин, ныряет в аллею под старыми липами, юркой рыбкой скользит по тропе

до самого моря. А на причале-то как подпрыгнет, как плюхнется воду! И брызги летят во все стороны...

Томно-то как. А учитель бубнит и бубнит. Ничегошеньки не понятно.

Как же его называли смешно? Цаца? Нет, Цапель. И любовь у него, девочки шептались. Такой скучный, и вдруг любовь... голову наклонил, губу нижнюю выпятил. Точно, Цапель...

Как жарко... совсем нечем дышать...

– Ай! – от неожиданности Тая пискнула на весь класс.

Опять девочки. Далась им Таины косы!

Историк замолчал и уставился на нее.

– Смирнова? Извольте встать!

С полыхающими ушами Тая поднялась.

Тук-тук-тук – сердце колотится часто, а движения почему-то замедлились, будто воздух в самом деле превратился в кисель. Она едва слышала, что ей говорят, звуки доносились изда-лека...

– ...должно быть, хотите продолжить урок? Будьте любезны, я с удовольствием...

Перед глазами плыло, и в наползающем розовом мареве Тая увидела, как государев портрет на стене насупился, посмотрел на нее с презрением.

Только бы не сомлеть.

Она не Сонечка, классная дама будет кричать, и мадам попечительница...

– ...считаете допустимым перебивать педагога, кричать, как дикарка...

Не сомлеть...

В розовом мареве проступила мадам попечительница – шумная, с жемчужной ниткой на белой толстой шее... смотрит укоризненно, как государь на портрете...

Не сомлеть...

В глазах потемнело. Вздох – но воздуха нет, есть кисель, а рыба не может дышать в киселе.

А-ах!

Выдох.

Темнота навалилась мягко, Тая стала вдруг очень гибкой – и не упала, а мягко и плавно стекла: под парту, на пол, в обморок...

И наконец, стало покойно и хорошо.

... Два склоненных лица: озабоченное – классной дамы и сердитое – учителя, она увидела позже, когда открыла глаза.

– Вынужден вам возразить, – говорил историк, – полагаю, здоровья в избытке. Равно как и тяги к возмутительному лицедейству. Это желание заявить о себе, даже таким диким способом, я склонен отнести к проявлению притворства и лени.

И увидев, что Тая на него смотрит, повторил, чеканя каждое слово:

– Да-с, именно так. Притворства и лени!

Живет Тая на окраине. Дом у них старый. В дождь мокрая штукатурка плачет потеками. Узкий, торчащий, как гроб, поставленный стоймя, туалет во дворе. Бельишко сушится на веревках с утра. К вечеру снимают, чтоб не укралаи.

Прямо из стены растет куст розового шиповника, а в маленьком палисаднике – цветок разбитое сердце. Под кустом у Таи сокровища спрятаны. Бумажный голубь в коробке от леденцов, медальон с отломанной крышечкой и синий камень, найденный в гавани. Камушек тот – особый. А коробку она после пасхальной службы нашла – кто-то из прихожан на скамье оставил.

Напротив дома – пустошь, а в глубине, где слышно, как море шумит – заброшенный барак красного кирпича. Черные окна, словно пасти, заманивают. Митя там волка видел!

Сам он куда-то запропастился. И вчера не было. А у его мамы не спросишь – она кричит погромче историка. У Митьки мама – прачка, большая и шумная, с красным пятном в половину лица – след от ожога паром. У Таи мамочка не такая – красивая и певунья. А папа умер, давно.

Зато у Митьки отец есть; он пьяница, пропадает в гаванских кабаках. Говорят, руки золотые были когда-то.

Сейчас ни души возле дома. Только кот на крыльце усы намывает.

Митька хитрый. Любит подкрадываться неслышно: идешь домой из гимназии, глядь – а он уже рядом шагает, будто всегда тут был. И сердце зайдет от сладкого ужаса: не увидит ли кто – гимназистку мальчик встречает!..

С Таей они с детства дружат. Митька привык верховодить, на выдумки больно горазд. Но теперь она – гимназистка. И пусть в гимназии тише воды, ниже травы, и глупые девочки дергали ее за косу, зато Мите она может рассказать все, о чем знает. И до лета осталось чуть-чуть, есть секрет под разбитым сердцем, а еще верный друг и огромный мир, о котором чистые гимназистки ни сном, ни духом. Поделом им! Пусть облопаются своим бламанже.

Свист. Треск ломаемых веток.

Хрусть!

Тая только отпрыгнуть успела – и вот он, пожалуйста, Митька, собственной тощей персоной. Стоит, ухмыляется. На щеках – черные полосы сажи.

– Ты откуда свалился?

– Известно, откуда! С неба! – когда Митька смеется, во рту дырка от верхнего зуба видна.

– Если бы с неба, разбился бы всмятку! И сажи на небе не водится!..

Хохочут.

Митька живет и горя не знает. До поздней осени ходит босой, бывает, где хочет, спит, где придется. Иногда в гавани помогает: то конец поймать, то сеть подлатать, а то проводить гуляку из кабака к Благовещенской. Когда монетку дадут, когда подзатыльник – как повезет.

Митька все про всех знает и ей рассказывает: в том домишке старуха живет, графская нянька – если окликнуть, в ответ непременно заругается по-французски. А в квартирантах у нее солдат корноухий. Он добрый – может леденцом угостить. А лицо все время в порезах – им положено бриться да форму носить до самой смерти. . .

Однажды Митька ей скупщика воровского показывал: с виду дядька как дядька, только глаза бегают. И про хулиганов он все знает. Если, говорит, синий шарф и фуражка на правое ухо – то гайдовцы, а если шарф красный и на левое ухо картуз, то роцинцы. У него знакомцев – полный квартал: нищие и разносчики, чистильщики сапог да воришки. Даже отставной регент-побирушка и тот с ним здороваётся. Не жизнь, у Митьки, а сказка: ни тебе гимназии, ни тесных воротничков, ни зубрежки.

У Митьки свои новости, у Таи свои:

– Историк мне кол поставил. Кричал! Злой он теперь, белены объелся. К нему товарищ приезжал, офицер без мундира. Конфетами всех угощал, а я наказанная была, только в конце прибежала. Офицер красивый! С усами! Девочки говорят, хороши конфеты-то были! Чистый зефир. А еще он Данилу Андреевича-то спросил, мол, как поживает ваша знакомая дама сердца?.. Представляешь, оказывается, у историка дама была. Такой нескладный весь, его товарищ смешно называл: Цапель! и прыщики, прыщики же у него, а тут раз – и дама!

– А что, если прыщики, то даму нельзя? – обиделся за мужчин Митька.

– Ты дальше слушай! Девочки смотрят – историк весь побледнел, зашатался, за сердце схватился и говорит: мы расстались, и жизнь моя разбилась навеки! Что ты смеешься, Соня Бузыкина сама видела. Так и сказал: разбилась навеки! И с тех пор сам не свой. Колы ставит! Вот что любовь делает.

– Любовь у него, а кол – тебе, – рассуждает Митька. – Вот бы любви своей колы и ставил. Надо бы посмотреть, что за гусь Цапелю-то ваш.

– Да кто же тебя в гимназию пустит? – смеется Тая. – У тебя башмаков нет. Мадам Вагнер как увидит тебя босиком – так от злости и рассыплется по косточкам...

– Ничего, – отвечает Митька, – я помозгую. Чтобы вашему Цапелю неповадно было колами разбрасываться...

– Ой, Мить, не надо! Хуже будет, – пищит Тая.

Но самой приятно, что друг за нее заступается.

– Ладно, – говорит Митька важно, – не бойсь.

– А еще Цирцелия Францевна сказала, что в гимназии вор завелся! Что у нее книжку украли. А Зойка Фомина все меня в бок толкала – как будто бы это я!

– Дура твоя Зойка! – отрезал Митя. – А что за книжку у Цыцы сперли?

– Да мне почем знать! Справочник какой-то...

– Справочник – полезная вещь, – отозвался Митька. – Помнишь, в субботу ночью в гавани кабак сторел? Так вот там человека нашли. Мертвого!

– Врешь!

– Вот те крест. Побежали! Сегодня к причалам пойдем. И еще покажу одну вещь...

– Я на покойника смотреть не буду!

– Да увезли уже покойника-то. Не бойся. Другую вещь. Ходу!

И как понесется!

А Тая – за ним.

Бежит по тропинке Тая за Митькой вслед. Солнце выглянет – травы запахнут сладко. Ветер макушку треплет. Овсянка – пыррр! из-под ног.

Стрекочет кузнечик. Вода журчит и хлопает по камням.

Лягушонок ручей перепрыгнул. Смешной!

Вот бы ей лягушонком стать! Не насовсем – на время экзаменов. Было бы чудно: квакай себе и прыгай с камня на камушек. Ни зубрежки, ни хихиканья за спиной.

И никто за косичку не дергает – откуда у лягушонка косички-то?

И духоты никакой – столько вокруг сладкого ветра и солнца! И вода! Много-много воды!

Бежит Тая.

В траве – желтый лютик да толстый шмель. Лопух пахнет горько, метелки травы ветер метет. Над заливом облака кучами, будто пена в прачечной у Митькиной мамы.

Столько интересного в гавани!

Можно забраться на старую иву и сидеть в развилке. Играть, глядя в рябые волны, будто на верхней мачте смотровой пост, и плывет корабль к чужим берегам, а матросы, капитан и Знатная Дама из первого класса – все ждут, когда на горизонте покажется остров сокровищ.

Можно прыгать с разбегу и съезжать по песчаной горе. Заглянуть в ласточкино гнездо, осторожно, чтобы не получить клювом в глаз.

Можно под старой лодкой устроить дом и играть, будто в нем живут муж с женой, да толпа ребятишек, и всех кормить на званом обеде, подавая на тарелках из лопухов то да се.

Можно купаться между причалов, где вода теплая и пахнет тинной. Можно подслушать чаек и узнать вести из дальних стран.

А можно по камушкам прыгать хоть до самого рейда – мелок залив на отмели. И кажется, прыг! – и допрыгаешься до течения Гольфстрим, ляжешь в теплую воду, и понесет тебя к берегам жарким, а под тобой поплывут киты, камбалы и тунцы, морские звезды зашевелият разноцветными пальцами.

Выплывут дельфины, удивятся, спросят: куда путь держите? Ответить не успеешь, подхватят, понесут, и окажешься на необитаемом острове под пальмой с кокосом да ручной обезьянкой...

Была бы ее воля, осталась бы здесь. Собирала сокровища: камушки да цветы, ловила бы рыбу с дедом Матвеем, а то уплыла бы, нанявшись юнгой на иноземный корабль...

Митька про все ей рассказывал: где воровская малина, где бывают марухи с котами, куда матросы играть ходят.

Тая, конечно, кивала, но ничегошеньки не поняла. На что ворам-то малина? Не медведи же, чай. А марухи с котами представлялись ей вроде тех глиняных игрушек, что она на ярмарке видела: румяная барыня в кокошнике и толстый раскрашенный кот, хвост трубой...

Но не переспрашивать же? Стыдно. Решит еще, что она глупая...

Между прочим, гимназисткам тут бывать строго запрещено.

Здесь же матросы! И жулики. И неблагонадежные типы.

Гимназистка любого тут удивит. И порядочный человек поведет заблудшее дитя к маме. Только вот порядочных в гавани нет. Недаром Карантинной ее никто не зовет.

Пьяная гавань.

Девочки сюда не ходят. А мальчишки – пожалуйста!

И кому какое дело, что сидят на камнях двое, в штанах до колен, один ободранный, другой почище, и помочи с тесемками. Кто разберет, что под шляпой у чистого спрятаны две куцых девчачьих косы?..

Нос с конопушками, широкое лицо, круглые глаза в бесцветных ресницах – пацан и пацан, мало ли их забредает за приключениями?..

Так что Таю тут не признают – спасибо за это толстому мальчику...

Маленький затон. Затхлыми моховыми ступеньками спуститься к воде. Тина мягкая, будто ковер. Вода щекочет ступни, и кажется, меж пальцами – перепонки, как у лягушки.

Ветер тучи нагнал, и пупырышки по рукам побежали. А пяткам тепло, приятно, словно на перине стоишь. Камни добела отмыты, а те, что под водой – в бороде зеленой. Шумит вода, у камней пеной собирается.

Митька скачет из затона в затон, прыгнул раз, скакнул другой – да и провалился по пояс. Зубы скалит.

Видно его, да не слышно – с трех шагов слова не разберешь.

Осока по берегу в Таин рост, метелки торчат, как копыя. По течению чайка плывет – хвостом вперед, а вид все такой же, гордый.

– Смотри, чего есть, – Митька подбежал, развернул перед ней карту, – Пе-тер-бурх, – читает по слогам.

– Где взял?..

Молчит.

Настоящая карта! Вот тут – Карантинная гавань, эта узкая нить – улица Благовещенская, а эта пупырка – надо же, гимназия и есть.

А сверху написано «справочник».

Ой. Не тот ли, что у директрисы сперли? Вот Митька! Теперь на Таю подумают. Она же бесплатная! С бесплатных особый спрос. Ох, Митька. Зачем влез...

– Там в углу камень выпал, – слюнявый палец тыкает в карту, на пупырку гимназии. – Туда можно клад сложить.

– Какой клад?

– Найдется, какой. Есть у меня одна задумка...

– Эй, голытьба! А ну, подсоби! – хриплый голос летит от причала.

Дед Матвей седой, как лунь. Морщины у него глубокие, будто кто специально вырезал. А глаза – голубые, прозрачные. И хитрые. Ох, и горазд дедо врать!

– И ты тут? – кряжистой ладонью хлопает Таю по шапке, – ишь, прилетел гусь на Русь!
Дед – их давний приятель. Думает, Тая – Митькин братишка.

– А ну, навались! – по-боцмански каркает дед, – богу молись, а к берегу гребись!

В ладони впивается смоленая веревка, они с Митькой тянут дедову лодку на песок, а тот, босой, подпихивает сзади.

– Давай, голытьба, живы будем – не помрем! Гляди, малой, портки-то в смоле не изгаздай! Больно хороши портки.

Митька хохочет, пихает Таю в бок. Дед ворчит:

– Смешно дураку, что нос на боку. Ну-ка, переверачивай!

Теперь упереться руками в смоленный бок и перевернуть килем вверх.

Портки у Таи и вправду хорошие. Матушка как-то загубила заказ для мальчика. Пришлось по новой шить – барчук толстоват оказался, не влез. Зато Тае те штаны пришлись впору.

Но ни-ни об этом в гимназии! А то плакали их похождения.

С Митькой вечно истории: то притащит ей мертвого голубя, чтоб пошила саван из лоскутов, то придумает делать шляпы из лопуха и играть в капуцинов, то поведет Таю по крышам, а сам бросит меж дворов, где с одной стороны – собака, с другой – дворник с метлой...

Но в гавани – дело другое. Тут он от Таи далеко не отходит. Митька много чего ей про гавань рассказывал. То рыбу диковинную вытащат рыбаки. То раковину морскую, каких тут никогда не водилось. А то рой пчел налетел, говорит, и одного дядьку зажалил до смерти. Откуда пчелам тут, в гавани, взяться? Не видела Тая, а Митька врал, как дышал.

Но куда ему до деда Матвея! Дед за помощь всегда байками платит.

– Хорошо море с берега, – так начинает рассказ. – Был такой баркас, «Купец Орешкин»...

Пожевал губами, глазом зыркнул – слушают ли, и продолжал:

– Прошел, как говорится, огни, воды и медные трубы, а попал к черту в зубы. Еще при Александре дело было... вышел, значит, отсюда, и пошел... пошел...

– Куда пошел, дедо? Ну? – это Митьке не терпится.

– А ты не нукай! Не запряг! В Астрахань, что ли? А то в Азов... но! – коричневый палец вверх, – куда б ни пошел, а к сроку в порт не явился...

– Потонул? – ахнула Тая.

Сердце обмерло – до чего жалко матросиков!

– Ахи да охи не дадут подмоги, – наставительно крикнул дед, – может, и потонул... да только год спустя нашли двоих матросов. Да не в Астрахани, не в Азове...

– А где? – опять Митька.

– В Костроме, – отвечает дед. – Обоих нашли в Костроме, на колокольне! Сидели вдвоем, вцепились друг в дружку, себя не помнят. Звонарь-то пошел к обедне звонить, и нашел. Водой их отливали, говорят, отмаливали, те и вспомнили, кто они и откуда.

– А про корабль?

– А про корабль... не помнят про корабль. Как вышли в море, значит, в первую же ночь появился столб на воде и свечение неземное. И в столбе том город нездешней красоты...

Молчит дед. Изнывает Митька:

– А дальше что, дедо?

– А дальше... Дальше говорят, поднялась водоверть, баркас и затащила... А дальше помнят, как их с колокольни сняли, и все!

– А что с остальными случилось? – шепотом спрашивает Тая.

– Не страшна мертвому могила, – отвечает дед, – может, потонули, а может... Еще те двое, говорят, пение слышали. Неземными голосами. Вон там дело было, – протягивает руку в сторону рейда, где блестит в воде солнце.

– Подумаешь, колокольня, – поддразнивает деда Митька, – подумаешь, город. Я, может, тоже его видал...

Тая толкает Митьку в бок, а тот только зубы скалит – знает, как деда на новую историю подстрекать...

– Смотри, какой резвый! Дали голодной Маланье оладьи, а та говорит: испечены не ладно...

– Ну, бабушка, – и Тае хочется новую сказку, – ну еще расскажи!

– Дай наглому волю, он захочет и боле... расскажи им, – дед жует губами, давит улыбку.

– Да пострашнее! – подначивает Митька.

– Не надо, – пищит Тая, – лучше интересную...

– Пострашнее, говорит. Ну, сами хотели. Давно дело было, еще при Петре. Был у него в ближних знатный колдун... Брюсом звали. Осерчал на него Петр Алексеич, прогнал прочь. А тот сюда и прибился...

– Куда сюда? – шепчет Тая.

– Сюда, в гавань. Тут болота были, лягушки квакали. Тут-то он свой конец и нашел. Все, вишь, колдовал, колдовство его и сгубило...

– А ты почему знаешь, дедо?..

Тая со всей силы Митьке на ногу наступает – не перебивай!

– Говорят, – прозрачные дедовы глаза смотрят на воду, – говорят, он-то не богатства искал, а от смерти прятался. До жизни алчный был, книжки черные читал, искал на смерть управы... Камень золотой, хилософский, все искал, чтобы смерть-то обойти...

– И нашел? – Тая уже дышать от любопытства не может.

– А то! Нашел. Только камень тот, говорят, вышел не золотой, а синий.

Синий! Как у Таи в секретике под разбитым сердцем!

– А какой синий, деда? – спрашивает Тая. – Как будто немножко прозрачный? Как леденец?

– Какой леденец! Ишь. Сказал – синий! И камнем-то тем он решил, значит, проход открывать – туда, где смерть его не достанет...

– И что? Неужто открыл? – это Митька глаза вылупил.

Дед молчит, будто не интересно ему дальше рассказывать.

А Тая с Митькой аж не дышат – до чего хочется знать, чем дело кончилось.

– Открыл. Избушка-то у него прямо тут и была, – взмах руки в перелесок, – с избушкой той он и сгинул. Говорят, пришли к нему – а там половину дома, как срезало. Стены нет и крыши. И колдуна одна половина осталась: будто шагнул куда, наполовину прошел, а вторая-то, значит, здесь... и сапог стоит. Так свою смерть и встретил...

Молчит Тая. Перед глазами сапог колдунский. И Митька молчит.

Вот дед! Как теперь домой воротиться? Страх же идти. А ну как колдун вылезет? Или его половина...

А тот продолжает:

– В тех местах из болот, говорят, камень вылез. Огромный, что твоя гора. И синий. Рос он из болота, рос, мхом покрывался. Стал, будто простой, обычный. И камень тот-то, когда памятник Петру Алексеичу ставили, вытащили волоком из болот сто молодцов и сто лошадей. А потом повезли на двадцати телегах, на трех кораблях, по земле, по воде. И поставили в самом центре Петербурха. Так камень теперь и стоит. Да только не знает никто...

– Чего не знают, дедо?

– Что камень-то тот – колдовской. Что Брюс-то, когда от смерти бегал, лаз открыл неизвестно куда. Сам-то, вишь, не прошел, а камень на его место прибыл. Не простой тот камень, истинно вам говорю. Наплачется город тот, где тот камень в центре стоит...

Солнце скрылось за тучи, стало совсем зябко. Наплачется...

Вот и мама ей тоже: не смейся так много – горюшко насмеешь.

Мама почти не смеется – лишь иногда в кулак прыскает, когда Тая ее смешит. А в глубине, в желтоватых лисьих искорках глаз, как ил на дне затона – горе.

– А теперь ты, – кряжистый палец упирается Митьке в грудь, – свою сказку мне расскажи! Куда бревна-то с пожарища таскаешь? Видал я тебя! На что тебе бревна?

– Ни на что, – насупился Митька.

– Нет такого закона, чтобы мальчикам по пожарищам шляться! Мервяка вон оттуда увезли! А тебе нейдет! Я гляжу – а он, ишь, муравей, тащит. Мало пороли тебя? Так я тебе!..

Раскипятился дед: насупил брови, палкой грозит. Распалился, бороду лопатой выставил.

– Бежим, – кричит Митька, – спасибо, дедо, за сказку!..

И как понесется!

А Тая – за ним.

Гегемон и кролик

Питер, девяностые, весна

Нечасто Боцман возил Ядвигу на берег, а сегодня еще и припозднился.

Вечерело. Дневные рыбаки отвалили с причалов. На берегу было бесприютно и тускло: ватное небо, влажность, как водится, сто процентов, и туман с воды наползает. Зато народу почти никого.

В такую погоду хорошо нагуляться по сырости, продрогнуть, как следует, а потом – в теплую баньку.

А еще лучше – дома сидеть. Но куда денешься: коммуна – дело такое: от каждого – по способностям, каждому... как получится. Вот и натягиваешь поверх куртки теплый пуховый платок. Какая весна, такой и наряд. Плюс старость.

– Через час заберу, – сказал Боцман, и, надвинув на глаза шапку, развалился на трех скамьях моторки, прикрывшись курткой, – покемарю пока.

А они с Кокосиком к причалу пошли. Питомец не отставал, шустро перебирал лапами по камням, от воды держался подальше – кролики не сильно-то водоплавающие.

Хитрован, видно, уже домой собирался, но Ядвигу приметил, рукой помахал, мол, давай, подходи. Еще бы не ждать: ее настойки на всю гавань славятся.

Вот и сгодился сорокалетний ботанический стаж. Из каждой ленинградской былинки она может пользу добыть. Не чаяла, что на старости лет это умение ей пригодится.

Народец по берегу непростой. В бич-холле натуральные уголовники. В гаражах – разбойнички, машины чинят да номера перебивают – тот еще люд.

А в катерки, что в воде болтаются, заглянешь – кого только не найдешь: тут тебе и беглецы от семейного счастья, и контрабандисты, и рыбаки – кто хошь.

Бизнес здесь простой: натуральный обмен. Торговаться, как на базаре, Ядвига не обучена. Не было такой науки в любимой лаборатории.

Хорошо, Хитрован есть: с ним всегда можно договориться.

С виду – мужичок ни рыба ни мясо. Но только что с виду. Ядвигу уважает: чаем из термоса угостил, и Кокосу сухарик припас.

– И спецзаказ, – Хитрован улыбается, – от супруги.

– Спасибо, – отвечает Ядвига, улыбку прячет. – А это ей, от бессонницы.

Повезло жене Хитровановой: хваткий мужик у нее и заботливый.

Кулек, сухо хрустнувший – в Хитрованову сумку. Пол-литровая банка – Ядвиге в мешок. Ух, Боцман обрадуется, Харонушка наш.

Неторопливо пошла от причала. Время есть: и Кокос порезвится, и травок она кой-каких соберет.

Ядвигу в гавани не трогали. Даже бичи, столкнувшись с ней на тропинке, уступали дорогу.

И питомец, Кокос, которого Боцман называл «жаркое», не вызывал у туземцев гастрономического интереса. Хотя кролики, говорят, вкусные. Но перспектива отведать нежного мяса не прельщала никого из бродяг, когда они заглядывали в прозрачные, выцветшие от времени глаза старухи.

Обходили по широкой дуге.

И когда шла она, высокая и прямая, с холщовым мешком, собирая одной ей известные травы, спяну мерещилась кое-кому коса у нее за спиной.

А кому охота старуху с косой обижать? Или, например, ее кролика?

Шелест, треск. Шаги.

Обернуться хотела – и не успела. Что-то ухнуло, крикнуло, накинuloсь сверху, глаза застило и шею сдавило.

Платок у Ядвиги плотный, пуховый. Его-то с плеч на голову ей и накинули, да затянули, прямо на горле. Вздохнуть хотела – и не смогла. Рот волосатой тряпкой забит.

В спину толчок – и повалилась в бурьян головой. Колкие травы царапнули руки, даже сквозь ткань продрались.

В пыльной тьме дышать стало нечем, шарила руками, чтоб платок с головы стянуть, а в это время кто-то рвал мешок у нее с пояса.

Дыхания не хватало. Не шаль – бесконечное полотно, перед глазами красные всполохи, сердце кольнуло. Забилась, закопошилась, едва распутала проклятую тряпку.

Еще не видя, лоя ртом воздух, шарила перед собой, но руки натыкались на корни и мокрые ветки, и стоя на четвереньках, она никак не могла надышаться.

Влажный нос уткнулся в ладонь. Кокос, дружок, беги, пока цел!

Завалилась набок, неловко села на землю – и увидела обидчика.

Лядаший, жилистый мужичонка. Стоит над ней, ухмыляется. Даже не думает убежать – не спеша распутывает тесьму на мешке, лезет добычу смотреть. Смелый, ишь – со старухами воевать. Вдруг вытаращился, аж глаза на лоб полезли:

– Кролик, что ли?..

И в прыжке Кокоса за уши – хват!

Кокосик висит, как игрушечный. А мужик хорохорится:

– Твой, что ли, кролик, бабка? Было ваше – стало наше!

Тяжело подниматься с земли.

Встала Ядвига, отряхнулась:

– Пусти, – говорит.

– Ага, разбежался, – скалится фиксой, – а может, я, бабушка, кушать хочу. Кушанькать мне надо, ням-ням, – кривляется, корчит плаксивые рожи.

– Отпусти, – говорит Ядвига.

А в глазах темнеет, и не нравится ей эта темь. Знает она, что за ней приходит.

– Заладила: пусти да пусти! А мне пох! Я – гегемон! Я жрать хочу! А если я жрать хочу, значит буду. Никто меня не накормит! Все сам! Нет такого закона, чтобы мужику голодным сидеть!

Темень из глаз выплескивается на свет. И туман за плечом мужика из серого становится черным.

– Кролика отпусти и мешок положи, – тихо-тихо, чтобы не потревожить то, что движется, что выползает из тьмы, говорит Ядвига.

А сама видит – не хочет, а видит, как покачиваясь и шевеля губами, в тумане проплывает голова, похожая на гнилую дыню. Как белобровая девчонка с косицами со всех ног бежит по тропинке к морю. Как из кустов выходит человек, за ним другой, и еще, окружают кого-то плотной стеной, крик в ушах – вой, в котором человеческого мало, но знает – то человек. И даже знает, какой. Но за всем за этим есть что-то еще: темное, синее, чужое, огромное, чему названия нет. Но оно – есть.

Сердце тикнуло с перебоем, сейчас бы валидол под язык.

А мужик по-своему понял, усмехается:

– Что, бабка, приссала? Совсем краев не сечешь? Вали живо, пока я добрый. Не будь ты старуха, узнала бы...

И такие дрянные слова произнес, что хоть уши мой с мылом.
И слова проросли.

Темнота за спиной мужика прорезалась белым саваном. Что-то вышло и встало у него за плечом.

Кокосик – и тот почувал, забился, извернулся. Задними лапами врага по морде хрясь! Взвыл мужик, кролика выпустил, за щеку схватился.

Кокос тут же дал деру в кусты.

А мужик на нее пошел, глаза злющие, изо рта поганого чуть не лягушки выскакивают – такую пакость орет.

А Ядвига не шелохнется. Ждет, когда дойдет до него.

И за левое плечо ему смотрит.

Тут до него дошло. Тупой, а тоже почувал. Дернулся, будто зябко ему. Не помогло – Ядвига сквозь шаль этот холод чувствует.

За левым плечом она. Старая знакомая. Стоит, будто всегда здесь была. От взгляда ее Ядвиге хочется спрятаться, хотя опять – не за ней. Но, странно сказать, после того, огромного и чужого, что почувала, даже она Ядвиге чуть ли не родной показалась.

Тихо-тихо, по капле, когда не хочется говорить, а слова, словно из плохо закрытого крана, кап-кап, и никак их не удержать, говорит Ядвига обидчику:

– А ведь молодой. А ведь жаль дурака.

Мужик рот открыл, и – ни звука.

– За плечом она у тебя. Скоро, совсем. Мне жаль, дружочек... так жаль...

Знает Ядвига. Не хочет, а знает.

Мужик смотрит мимо, будто слепой. Мешок выпустил. Щека кровит, облезлый, весь пыл растерял. Зябко ему.

Еще бы не зябко.

Завернул трехэтажным – вбогадушматерь, да и пошел. А она с ним. Ядвиге кивнула, как старой знакомой.

Так и ушли.

А они с Кокосом остались.

У Ядвиги с ней свои отношения. Родственные, можно сказать. Трижды она ее видела. Кому-то и раза хватает, а с ней почему-то так.

Но каждый раз, встречаясь с взглядом пустых глазниц, знала – не время еще. Не за ней. Порой даже знала, за кем. И это знание с каждым годом светлило серые прежде глаза до прозрачной, старческой голубизны.

В первый раз повстречала ее еще девкой молоденькой. В тридцать восьмом дело было.

...В коридоре коммуналки хлопали двери. Запирались щеколды, за каждой – соседи старались не дышать. И слышалось юной Яде, как стучат сердца, а губы беззвучно шепчут: не за мной, не сюда, отведи...

К ним-то и постучали.

Вышла красавица Ядя – высокая, статная, с черной, обернутой вокруг головы косой. Сорочка батистовая ночная ничегошеньки не скрывает в свете, что из комнаты льется.

Первому парню, молоденькому, она бы глаза отвела. Тот, как увидел ее, в дверях и застыл. Она уже за собой силу чувала. Не сумела бы описать, но знала – есть. Парень замешкался, засмутился. Будь один он – заболтала бы, заморочила.

Да двое других из коридора вошли, оттеснили Ядвигу, и когда все трое ввалились в дверь, она и увидела, кто еще стоит на пороге.

Той минутной задержки маме с папой хватило, чтобы скормить щели в полу письмо от друга из дальних краев. Но доноса отцу хватило и без письма – по самую маковку. Увели папу. Он старенький был, не зажился.

А мама в эвакуации сгинула.

Ту теплушку с ледяной дырой вместо сортира Ядвига во сне увидела. В ней мать ехала, и другие еще. А с ними, возле людей, на мешках, в чаде, в дыму, в душном холоде, словно еще один пассажир, ехала та, с пустыми глазами...

Во сне том блокадном, увидев мать и эту, сидящих рядом, все Ядвига и поняла. После Победы уже разузнала, что так все и вышло.

Перед самой войной Ядвигу взяли лаборанткой в ботанический сад. В октябре сорок первого она в субтропиках работала, тут и рвануло. Тогда ничегошеньки не поняла: звон стекольный, пальма, трава-переросток, накренилась, не падает. Снежище, осколки брызгами. И в свете пожара, как днем, увидела, как идет на нее безносая, не касаясь земли.

Не дошла. Пальцем погрозила и сгинула.

В себя уже в госпитале пришла. Недолго лежала. В блокаду в Ботаническом огороде разбивали, выращивали корешки, укроп, даже картошку.

После войны жила красиво и просто, как все: с травами, с кактусами любимыми. Бабка ее хорошо понимала в травах. И папа ботаником был. И она.

Так и старилась. А в шестьдесят засохла – перестала стареть, сколько лет ей сейчас – и не вспомнить...

Кто же ждал, что ей какой-то сопляк тыкать будет да угрожать? Сам дурак. Знал бы, не стал бы связываться. И мужик этот дохлый, что Кокоса тянул, тоже зря: может, и обошлось бы... но поналезли откуда-то новые, наглые: совсем нюх отбит.

Не все такие, конечно. На «Пингвине» контингент неплохой. Новенький тоже приличный. Боцман, Ринат...

Вспомнив Рината, она огляделась. Где-то тут, прямо здесь... нашла! Травка та мелкая, неприметная. Люди ногами топчут. А Ядвига в мешок приберет, Ринату на чай.

Без этого чая Ринат не жилец на «Пингвине». Пьет из широкой миски, сидит, подобрал ноги, на японскую эцке похож. Сколько лет ему, не поймешь: молчит – старик стариком. А как улыбнется, зубами блеснет – молодой. Спросила как-то его. Отшутился:

– Что тебе мои годы, Ядвига-апа? Ты что – паспортный стол?..

Мечтает Ринат о твердой земле. А никак. На воде пока дом. И его, и Ядвиги...

На «Пингвине» даже полка с книжками есть. Все справочники с собой забрала, хоть и тяжелые. Кокосик присмотрен, воздух хороший и воды вдоволь. Гигиена во всех случаях – первое дело.

А молодые по новостям тоскуют. Людка недавно телевизор вспомнила. А Ядвига ей:

– Деточка, ну зачем вам телевизор? Что вы там станете смотреть? Какую кинопорно-раму?..

А та улыбнулась тихо, как тень. Время гнилое – смеяться люди разучились. Разве что Боцман – да и тот, будто по принуждению...

Боцману можно, на него не обижаются. Кто на берег свезет? Боцман. Кто соляры добудет и мотор заведет, когда от холода зуб на зуб не попадает? Боцман. Кто Ильичевых крестников на «Пингвин» привезет? Опять Боцман.

Плеск волны. Тарахтенье моторчика.

– Пойдем, Кокосик, домой, пора ужин готовить. Харон-то наш, видишь, заждался уже.

Идет старуха по гавани. Спешит за ней кролик – сам белый, а ухо черное.

И пусть идут. Обычное дело.

Гавань и не таких гостей видывала.

Потерянное время

Санкт-Петербург, 1907, весна

Город, окрашенный в охряные тона, чем-то напоминал Петербург, но больше – Венецию, как представлялась она по старинным гравюрам.

Гондола несла его вдоль канала, на гнутых мостиках прогуливалась публика. Из воды улыбались купальщицы с белыми лилиями в волосах. Незнакомая музыка летела с плавучей эстрады.

Еленушка, прекрасная и какая-то новая, сошла с причала к Даниле в лодку.

– Милый друг, – сказала она.

Данила протянул ей подарок – большую коробку с бантом, вроде той, что Трубицын подарил мадам директорисе.

Еленушка улыбнулась. Изящные пальчики сдернули ленту, коробка открылась и – тук-тук-тук. На синем атласе лежало человеческое сердце.

– Спасибо, – прошептала она.

В ее руке вдруг оказался нож – странный тускло-желтый обоюдоострый клинок.

Взмах – и она всадила его в живое, пульсирующее сердце. Брызнула кровь. Данила вскрикнул от боли. За что?..

Чужая мелодия. Стук барабанов.

– За что?!

– Данила Андреевич! Откройте! Голубчик, что с вами?..

Рывком сел.

Чахлый рассвет. Озноб. И подушка мокрая.

Грохот. Хлипкая дверь гнется, щеколда еле держится, будто кто-то навалился с той стороны. Это за ним. За что?..

– Данила Андреевич! Немедленно откройте, что же вы...

Рывком с кровати. Вытер покрытый испариной лоб. Взгляд в зеркало над рукомошником – в волосах перо от подушки, глаза шалые.

Треск. Щеколда вылетела, дверь распахнулась под грузным телом хозяйки:

– Голубчик! Вы так кричали! Я думала, вас убивают! У меня вот, смотрите, – и продемонстрировала дрожащие, в темную старческую крупинку, руки, – что у вас стряслось?..

– Ничего, Надежда Аркадьевна, – забормотал он. – Сон это, дурной сон. Простите, что вас напугал. Я не нарочно, – как школяр перед классной дамой, честное слово!

– Может быть, вы вчера пили?! – голос хозяйки окреп.

Глаза зорко обшарили комнату, отметив и разоренную постель, и недопитую чашку чаю. Заглянули под умывальник – Надежда Аркадьевна гордилась, что у жильцов есть в комнатах удобства – и даже, казалось, просветили, словно рентгеновским лучом, закрытый шкаф. Под кипой тетрадей на столе что-то бугрилось – уж не фляга ли?..

– Что-то вы сам не свой всю неделю, – вынесла вердикт домовладелица.

– Я думаю, – начал было Данила, но хозяйка его перебила:

– Вот в том и беда: все сидите да думаете! А хоть бы гулять пошли. Гулять надо больше, от прогулок-то сны какие хорошие...

На эту отповедь ответа у него не нашлось. К тому же он знал, что чем ближе был срок уплаты за комнату, тем чаще хозяйка искала повод его навестить.

Кое-как, с помощью башмака и гвоздя, приладил на место щеколду – хотя жить его приватности до следующего кошмара.

Словно паутинка, мелодия из сна затихала в комнате.

– Халат! Халат! – раздались за окном крики старьевщика.

Данила выглянул. Бойкий смуглый «князь», в цветастом халате и черной шапочке, торчал под окнами. Увидев Данилу, ослабил и радостно повторил:

– Халат!..

Часы внизу пробили шесть.

Данила застонал и потер руками лицо.

Кошмар убил единственное утро, когда хотя бы поспать можно было вдосталь. Вспомнив кинжал в нежных пальчиках, поежился от дурного предчувствия. С Еленушкой он не виделся две недели, но о том, чтобы ехать к ней, и речи быть не могло.

Позор следовало пережить в одиночестве. Понять мотивы своих поступков и обрести душевное равновесие.

А равновесие не обреталось никак. Кутеж сожрал сбережения. И без того скромное существование превратилось в аскезу.

Хозяйка все чаще находила предлог, чтобы заглянуть: вдруг-де он подзабыл, что этот стол, умывальник, кисейные занавески и даже холодный, водорослями пропахший чердачный дух (окно в комнате историка не закрывалось) Даниле не принадлежит?..

До жалованья осталась неделя. А значит, со вторника он обречен лицеизреть поджатые губы, оправдываться, обещать – как всегда.

Чем, спрашивается, это отличается от гимназии? Здесь – старая жаба, там – селедка сушеная. Как она сказала? «Все сидите да думаете». И Цирцелия на днях ему выговаривала: «Умствованиями вы порядка от них не добьетесь. Железная воля – вот что вам нужно». Кругом старухи, и все норовят учить его жизни.

И пигалицы. Еще одно зло.

Щебечут, шуршат, дрожат губками, обмороки закатывают...

Глазки пустыньские, улыбки шербапенькие. А меньше надо сладостей кушать! Влюбляются в дьякона, в истопника, а то и друг в дружку. Еще в Трубицына – точно, парочку бестолковых сердец чертов фат с собой прихватил.

Конечно, они расслышали все: и Еленушку, и его прозвище. Каждое утро теперь историк стирает с доски вензель «Е».

Особое раздражает эта Смирнова. Ее ругают, а она глазенками хлоп. Все слова – как об стенку горох. На днях поставил ей кол – другая бы прорыдала всю перемену. А эта во дворе черемуху нюхает. Очевидно же, что родителям оборванки дела нет до нее. Хорошо устроилась!

Вспоминая еженедельные порки, которые со слезами жалости устраивала ему покойная матушка, Данила еще больше сердился: почему одним все, другим ничего? Одних учат бесплатно, а у других матушка последние крохи вкладывает в единственное дитя? И теперь это дитя, то есть он, вынужден терпеть бестолочь, которой на все наплевать...

Три недели осталось. Что любопытно: чем больше солнца в гимназических окнах – тем ужасней почерк его подопечных. Взгляд историка невольно упал на стопку тетрадей. Под ней что-то лежало.

Он потянулся к столу. В его каморке из любого места можно было достать любой предмет. Если, конечно, рука не упрется в книги и не обрушит стопку на пол, чтобы дать Надежде Аркадьевне новый предлог зайти.

Остороженько...

Под горой тетрадей нашлась астролябия – укор Данилиной глупости. Как только ему в голову могло взбрести? Он украл эту вещь. Зачем?! Чтобы подарить Елене, как парисово яблоко. О чем думал?!

Но ведь не поделка, настоящий, рабочий прибор. Когда-то по нему можно было проложить маршрут, узнать время и место свое на планете. Гороскопы составить. Подвесить за латунное ухо, чтобы следить за звездами.

Неожиданно Данила увлекся. Крутил подвижные части, изучил сетку линий, поднеся близко к глазам, попытал счастья в опознавании мелких знаков. Клеймо, похожее на морскую звезду – единственный символ, который оказался хоть как-то знаком.

Какая хитрая вещь. Все в ней есть! Карта, часы, навигация, если знать, что взято за полюс мира. Ловко устроено. И эта обоюдоострая стрелка, алидада... что она ему напоминает?

Он забавлялся, вращая диски, сопоставляя элементы, на ощупь исследуя резные завитки паука и мелкие, тщательно вырезанные на кольцах буквы.

По какой стране откалиброван? Знать бы. Полюсом мира мог быть любой город.

Особо занимали буквы: Данила никак не мог определить язык. Арабский? Какого-нибудь ученого мусульманина, чтобы в любой точке мира он мог повернуться лицом к Мекке? Некоторые значки больше напоминали иероглифы. Не поняв смысла знаков, пользоваться прибором нельзя. Знать бы, какой язык...

Он вглядывался в буквы, похожие на жуков, напрягая глаза так, что они заслезались. Сосредоточился на символах, все внимание направил туда, и – странная причуда – вновь услышал мелодию, и чем больше вглядывался, тем явственнее был звук барабанов, ритмичный, пульсирующий...

Символы, на которые он смотрел, стали словно бы ближе. Предчувствие – еще мгновение, и буквы дрогнут, подстроятся под взгляд наблюдателя, стоит лишь задержать дыхание, подождать короткое – меж двумя ударами сердца – время, и откроется смысл...

– А хоть бы и в церковь сходили! – громко сказали за дверью. – Вон, колокола к литургии звонят. Восемь уже. Взяли бы да пошли. Не басурманин вы все-таки...

Данила вздрогнул.

Мелодия исчезла. Поделка с восточного базара блестела в утреннем свете.

Восемь часов?!

Но только что было шесть? Куда, позвольте спросить, делись еще два?..

На Благовещенской было людно. Свадебный поезд летел в сторону храма. Лошадь с белым венком в гриве вдруг засбоила, встав на дыбы. Историк как раз поравнялся с первым ландо и увидел, в чем дело.

Паренек-газетчик решил перебежать дорогу перед свадьбой. Из второго экипажа тут же выскочили трое дружек и теперь беззлобно, но от души его мутузили – а нечего воровать чужое счастье! Молодая, прикрытая белой фатой, отвернулась.

Ох, уж эти суеверия, подумал Данила. Небось, у невесты подол подвенечного платья полон булавок, а за пазухой чеснок от дурного глаза...

Дружки запрыгнули обратно. Парень отряхивался с лицом человека, который легко отделался.

Данила шел не спеша, без цели, и неожиданно для себя остановился у храма. «Басурманин вы какой, что ли?». Стянул фуражку, перекрестился и вошел.

Духота и полумрак обступили его. Под сводами, широко раскатывая «о» звенел чистый голос:

– Благословенно царство отца и сына и святого духа ныне присно и во веки веков!..

– Ами-инь! – нежно подхватывал хор.

Венчал жениха и невесту молодой строгий дьякон. Его гладкий лоб, юношеская бородка, тени на скулах и ясный взгляд неофита напомнили Даниле студенческие годы. Когда-то он

сам был таким – юным, полным веры в свое предназначение. Молодые – коренастая невеста и тощий, аршин проглотивший, жених – стояли перед крытым парчой аналоем, держа в руках толстые венчальные свечи.

Кто-то подтолкнул его в спину. Старушка в салатном платке шепнула:

– Проходи уж, батюшка мой. Чего на входе стоять. – И тут же лучисто улыбнулась: – благодать-то какая!

Данила встал в уголке рядом с печью. Кто-то протянул свечу, и он, поклонившись, принял. Со своего места видел простоватый, утиный профиль невесты и напомаженный чуб жениха. Разглядел золотые венцы с куполками.

Дьякон нараспев вопрошал:

– Имеешь ли ты раб божий Александр, произволение благое и непринужденное и крепкую мысль взять себе в жены рабу Божию Ирину?..

Глаза у рабы Божией Ирины блестели, губы беззвучно шевелились.

Голос жениха был хрипловат – то ли от волнения, то ли от духоты. Церковный истопник расстарался, чтоб православный люд не замерз в это ясное воскресенье – от печи, где стоял истопник, шел жар.

Пара встала на колени на белый плат.

А ведь так могли бы сейчас стоять мы с Еленой, подумал Данила.

– Миром Господу помолимся! – басовито возгласил батюшка.

– Господи, помилуй, – подхватил хор.

Чистые, ликующие голоса летели под сводом. Один, ясный, девичий, показался Даниле знакомым. Он поднял глаза, почти ожидая увидеть, как мелодия звенит и бьется под куполом...

– помилууууу... – уууу все тянулось, и никак не могло закончиться.

Купол качнулся, и время застыло.

И в этот растянутый миг пришли барабаны, запульсировали в висках, накрыли душной волной, потащили, не давая вздохнуть, закачали, как щепку, и потянули в водоворот.

Купол закружился. Мучительной судорогой скрутило живот, словно он наглотался соленой волны. Сжалось сердце. Ноги стали ватными, Данила зашарил в поисках опоры, схватился и тут же отдернул руку – ладонь обожгло.

– Сомлел, батюшка, – участливый шепоток, – и свечку-то, смотри, обронил...

Салатовая старушка, взяв Данилу под локоть, увела его от печи и усадила на лавку.

– Такой молодой, а сомлел. Я Архипу-то говорю: куда топишь? Куда столько в печку пихаешь! Ты посиди, полегчает...

Данила прислонился к стене. Пелена с глаз спадала, но что-то было не так. Вместо ладана чудился запах морской, соленый.

– Исполнил дома пшеницей, зерном и елеем...

Батюшка, троекратно благословлявший венцом жениха, сквозь зеленоватую пелену предстал повелителем морей Нептуном, а жених с невестой, с венцами из водорослей на головах обрели рыбы головы, будто тощая треска и губастый карась стояли у анаоя.

Данила прикрыл рот ладонями, чтобы не закричать. Зажмурился, сосчитал до десяти – и открыл глаза.

Храм обрел привычный вид.

Священник соединил руки супругов, покрыв их парчовой епитрахилью, и повел вокруг анаоя.

– Господи помилуй... – хрустальный девичий голос звенел, отдавался болью под черепом. Знакомый голос, и это узнавание было досадным, мучительным до того, что сил больше не было слушать...

Данила поднялся и пошел сквозь приторный полумрак, отмечая укоризненные взгляды матрон и завистливые – детей, отмытых и причесанных к празднику.

А вслед летело ликующее, в клочки дерущее душу пение.

Прикладная ботаника

Питер, девяностые, весна

Ильич торопился. На ночной улице он был, как бельмо на глазу: пожилой гражданин с большой неудобной коробкой, перетянутой крест-накрест шпагатом.

Окраина Ленинграда. Тут и днем безлюдье.

Ветер ерошит деревья, гонит по улице пыль. В выбитом окне первого этажа плакат «Хопер инвест – отличная компания». Конец улицы Савушкина, в прошлом – безымянного отростка Благовещенской.

Колени напомнили об артрите. От коробки болело плечо. Все это, обведенное фигурной скобкой, обозначало «отбегался, старый пень» и «для прогулки выбрано неудачное время».

Но если тебе выпадает неожиданный фарт, бог, которого нет, обязывает делиться.

Слева потянулся бетонный забор с лапшой объявлений. Предупреждение: «Стоять! Прохода нет». Жирным и черным: «Коммунистов под суд». И совсем странное «Не в деньгах счастье» какого-то спятившего от нынешних передрыг доброхота.

Через сотню метров в заборе обнаружилась дыра. Ильич пролез. От дыры сквозь заросли вилась тропинка.

Огромный пустырь в молочном свете напоминал поле чудес. Останки грузовиков в бурьяне, строительные вагончики, гаражи, хибары из ящиков, местами новехонькие, кое-где – просевшие от старости внутрь. На высоком сарае заброшенной лесопилки реял красный флаг.

Людей он не видел, но знал, что на всей этой, безлюдной с виду, земле, кишит жизнь. Как в муравейнике.

Кого тут только нет! Стар и млад, те, кого перемололо да выплюнуло сегодняшним временем – все тут, болтаются на воде. Идет, к примеру, рыбачок: ватник, кепарь, сапоги резиновые. Колупни его – кого найдешь? Может, химика, может, врача, а то и художника. От долгов ли сбежал или от радостей семейной жизни? Не спросишь. А, может, деваться некуда: вместо дома у него катер один и остался...

Пахнуло водой. Дорога шла под уклон, тянулись ржавые рельсы. Куда? В тупик, ясен перец. Сейчас все пути тупиковые. Зато идти стало легче.

Фарт Ильича материализовался в виде коробки с гуманитарной помощью. Клиентка извинялась: работала в госконторе, зарплату выдавали фантиками и с трехмесячной задержкой. Неплохо, кстати, по нынешним-то временам.

И вот, когда дама заявила, что платить за ремонт не может, но готова отдать натурой, а в округлившись глазах Ильича мелькнули картины совсем уж непотребные, и появилась коробка, которую щедрые немецкие буржуины упаковали для бывших советских граждан:

– Нам на работу привезли целый автобус. Там, знаете, всякое. На вкус, может быть, непривычно, но есть можно.

В коробке оказались сосиски в жестяных банках (на них Ильич прочитал слово «dog» и крепко задумался), крекеры в оранжевой упаковке, пачка мятных карамелек, жевательная резинка, четыре плитки шоколада и чай, на котором было написано «green». Сверху лежал прямоугольный брикет молотого кофе, пачка вяленых бананов и шесть презервативов «king size».

Глядя на этот экзистенциальный набор, Ильич прямо не знал, как распорядиться свалившимся счастьем.

Себе решил взять шоколадку и чай, но выяснил, что паскудный «green», сколько не заваривай, не давал правильного, янтарно-коричневого цвета, а был бледен и желт, как младенческая моча. На вкус тоже.

Чай и остальное добро решил сплавить «Пингвину» – теперь у них одним постояльцем больше.

Остовы лодок, камни. Зудят комары. Пахнуло дымком и едой. В животе забурчало.

Шмыгнул через дорогу кто-то серый и растворился в тени. Шум мотора – недалеко, по проселку, медленно едет машина.

Вот и вода. По акватории, сколько хватает глаз, лодчонки и катера – самая густая жизнь там. Вдали, на фарватере, едва угадываются точки рыбацких лодок.

– Эй, дед! – слышалось за спиной.

Ускорил шаг. Ноги вязли в песке.

– Стой, кому сказал!..

Шум за спиной, топот. Ильич обернулся.

Его догоняли трое. Машина – вишневая девятка – осталась возле гаражей. Надо же, резвые: не поленились вылезти, чтобы со стариком пообщаться.

– Дай, – сказал один.

И протянул пухлую руку. Взгляд был пустой, ухмылка – наглая. Головошея и прочее тулово – округлое, как у пингвина. Ильич читал его биографию, как по нотам.

...Увидел зимнее утро. Как крепкого краснощекого школьника тащит в школу бабушка, груженная портфелем, мешком со сменкой и лыжами для физкультуры. Семенит юрким буксиром, тянет баржу, а баржа, то есть любимый внучек, басовито ревет, огрызаясь, и толстые щеки горят, как снегириная грудь. Оскальзывается в валенках с калошами, тормозит у ледяных луж. Бабушка ждет: пусть порезвится маленький. А в школе, размотав с внучоночка шарф, снявши с него заячью ушанку и теплую, добытую по благу дубленку, проводит кровинушку до гардероба и долго будет махать ему вслед.

В школе он будет огребать поджопники по крепкой заднице, позже пыхтеть, давя массой и зажимая обидчика в угол. Еще позже – зажимать в углу тихих девочек, тех, кто не может дать сдачи, и чувствовать себя невозможно крутым.

Звать его будут «жиртрест», «мясо» и «красный». Он научится ставить подножки, выворачивать чужие портфели и орать на училку басом: «А че сразу я?!».

Школа выпустит его с троечным аттестатом и перекрестится. А он выйдет в большой и прекрасный мир и получится... это.

– Дай, – повторило это, окатив Ильича пивным духом.

Дело было швах. И численный перевес на чужой стороне: за краснорожим маячили двое.

В коробке не было ничего ценного. Но то была его, Ильича, коробка. И он тащил ее от самого дома.

В третий раз говорить не стали – пихнули в лоб пятерней, и Ильич повалился на спину. Коробка прикрыла его, как прижизненное надгробие.

– Вот жук навозный, – заржал жирный. – Сам лежит, а коробку не отпускает. Давай-ка, дедуля, посмотрим, что у тебя...

– Ссуки, – прошипел Ильич, – совести нету!..

– Еще лается, – сказал второй и пнул его в бок.

Коробка, подхваченная толстым, взлетела наверх.

Ильич, скрючившись, перекатился на бок.

В рот набился песок, «ухо» – слуховой аппарат – захрипело и отключилось.

– Ну-ка, что там дед тащит?..

Толстый вытащил нож и взрезал картонное брюхо, наплевав на веревки, которые можно было аккуратно развязать.

Даже не подумали убежать: поверженный пенсионер не представлял угрозы.

Троица заинтересованно нагнулась над коробкой.

И тут...

Краснорожий схватился за голову. Морда сделалась совсем багровой, как будто вот-вот лопнет. Второй свалился на колени, а третий согнулся пополам – его вырвало.

Если бы Ильич не знал, что в коробке лежит продуктовый набор, то подумал бы, что там – нервно-паралитический газ или что-то совсем безобразное, вроде расчлененного тела.

Почти ослепший от песка, налезшего в глаза, он нетвердо поднялся.

Эти глянули него, как на привидение, и поползли в кусты.

Ни черта Ильич не понял, ничего не слышал, но знал одно: убраться отсюда надо как можно скорее.

Дошкандыбал до коробки, глянул опасливо. Все на месте: тут тебе и кофе, и печенье буржуйское. Увидел, как кусты ходуном ходят: то ли выворачивало отморозков там, то ли припадок случился.

Ничего не понял Ильич в безухой своей тишине.

Присел на камень, дух перевести.

И услышал.

Да не ухом – ухо-то в кармане лежало, песком забитое.

Как бы душой услышал, кому сказать – решили бы, что дед спятил.

Будто бы плач: тихий, тоскливый.

Будто бы от воды.

И никого вокруг. Только камыш качается да чайка под небом летит.

А плач не стихает – чуть не слезы на глаза наворачиваются.

Неизвестно зачем достал из коробки печенье буржуйское, да на камень у воды положил. Что бы там ни плакало, что бы ни мерещилось, долг – он платежом красен.

Взял коробку и потащился к Боцману на randevу. На барже ребята рукастые, может, и «ухо» починят.

Прочапал несколько шагов по песку – и слышит, плач будто и прекратился. Словно толкнул кто – обернулся Ильич.

Все по-прежнему: вода рябит, чайка летит.

А печенье на камне и нету.

Боцман шуровал на камбузе. Николай наблюдал за ним из кубрика через раздаточное окошко.

На камбузе гремело и лязгало. В царстве Ядвиги Боцман был медведем в посудной лавке: что-то ронял, чем-то шпарился, что-то рассыпал. Чайник, и тот не сдавался без боя – плевался, шипел и свистел.

Звуки и сдержанный мат сообщали о ходе сражения. Хорошо, Ядвига не слышит – у себя сидит. И Кокос с ней, слава богу, иначе Боцман ему уши уже оттоптал бы со своей бегемотовой грацией.

Наконец, в окошке показалась боцманские лапы с двумя кружками: алюминиевой – скромной такой, на пол-литра, и маленькой эмалированной с мухомором, словно похищенной из младшей группы детского сада. В кружках плескалась черная жижа.

Боцман возник в кубрике, и тут же в помещении стало тесно. Плюхнулся на диванчик, от чего Коля на своей стороне приподнялся на пару вершков, водрузил кружки на стол. Коле, естественно, достались мухоморы, а Боцман стал сыпать в свою рафинад: раз кусок, два, три... на восьмом Николай сбился со счета.

Пить такую патоку – это ж зубы сведет. Коля вообще без сахара пьет. Но тут уж у каждого свой вкус, как говорится.

– Ща! – сказал Боцман, – у меня тут, – и метнулся к куртке, висевшей на гвозде возле двери.

Зарылся в широкие карманы и извлек банку. На стол нес ее, как хоругвь, торжественно и вдохновенно. Водрузил перед собой и расплылся в счастливой улыбке:

– Тетушка Борджиа подогнала. Уважает!..

Под крышкой, в мутном рассоле, как в братской могиле, тесно сомкнули пупырчатые спины приговоренные огурцы.

С хрустом открыв башку банке, Боцман втянул ноздрями солоно-кислый аромат, выдернул поминальный зонтик укропа и бросил на стол. Поймав взгляд Николая, посуровел бровями и спросил:

– Будешь?

Николай замотал головой.

То был правильный ответ.

Глаза Боцмана потеплели. Засунув два пальца в банку, он со скрипом вытащил тугой, изжелта-зеленый, даже на вид пересоленный огурец. Откусил половину и блаженно захрустел, параллельно прихлебывая из кружки горячую черную патоку.

У Николая свело скулы.

Хрусть! Вторая половина отправилась в пасть.

Следующие пару минут, кроме хруста и хлюпанья, сербанья и чавканья в кубрике ничего не было слышно.

Хрусть! Второй огурец, чуть поменьше первого, отправился в пасть целиком. Хлюп! Чай в кружке плескался уже ниже ватерлинии.

– Люблю я это дело, – признался Боцман, – не надо мне к чаю ни конфет, ни печенья...

А то я не заметил, подумал Коля.

– Это, – Боцман помахал в воздухе огурцом номер три, – лучшее лакомство! Еще с Владика привычка осталась...

Хряп! Николаю почудилось, что оставшиеся четыре огурца в ужасе прижались друг к другу, и пупырышки на желтых шкурах стали как будто бы больше.

– Мама у меня такие огурцы солила! Эти хорошие, но у мамы... Соли – во! Перца – во! И, главное, в каждую баночку добавляла ма-ахонький такой красный перчик. Системы «чили». Огонь! Я как-то мелким сдуру его сожрал...

Хрусть! Чавк!

– С тех пор и люблю это дело... Спасибо Ядвиге, уважила старуха. На причале, говорит, сменяла у Хитрована. Специально, говорит, для тебя. Вот за что люблю тетушку Борджиа, это за понимание...

– А все-таки, – спросил Николай, – почему ты ее тетушкой Борджиа зовешь?

Боцман ухмыльнулся. То была ухмылка опытного травилы.

– Ботанический сад, говоришь, – начал он, хотя Николай ничего и не говорил. – Был там по осени, понимаешь, один случай...

И рассказал.

Ленинградский ботанический сад, как все госучреждения, переживал не лучшие времена. Но пока держался. Его и блокадные годы не сломили. Тогда сотрудники выносили из разбомбленных оранжерей редкие растения и сберегали, как могли.

– Ты потом загляни, – Боцман раскинул руки на облезлом, цвета жеванного компоста, диване, – там пальма одна есть, так ее снарядом перерезало. И ничего – оклемалась старушечья. Растет. Вот она – любовь к жизни...

Короче, при всей скудости бюджета, ботанический сад жил. Растения цвели, ученые работали, а школьники и городской люд все так же ходили на экскурсии.

Среди сотрудников особым уважением пользовалась одна дама – старший научный сотрудник отдела морфологии и анатомии растений.

Была она уже на пенсии, но продолжала работать. Многие годы на бессменном посту, пришла еще студенткой, да так на всю жизнь и осталась:

– Прикипела, понимаешь, к своим кактусам-пальмам, как к родным, – объяснил Боцман, – как знать: может, и сейчас бы работала...

Однажды даме позвонил коллега и попросил принять бизнесмена. Тому требовалось поговорить со специалистом весьма узкого профиля. А лучшего эксперта по суккулентам, чем эта дама, в городе было не отыскать.

Наутро к ней в кабинет пожаловал сам молодой бизнесмен. И озвучил заманчивое предложение.

Он будет выплачивать надбавку к скудному довольствию старшего научного сотрудника, а в обмен просит оказать содействие двум молодым ботаникам, которые жаждут припасть к колодцу знаний о суккулентах. Последнее слово бизнесмен прочел по бумажке и извинительно улыбнулся – он не специалист, плохо владеет терминологией.

Но с таким наставником, как она, он не сомневается, что молодые ботаники смогут почерпнуть много полезнейших, уникальных сведений и те де и те пе...

Ничего предосудительного в просьбе старший научный сотрудник не углядела. Отчего бы не обучить молодых людей, которые в это смутное время не торгуют турецкими шмотками, не растрачивают юность по кабакам, а хотят – надо же – овладеть премудростями ботаники? Почему бы и нет? Наставничество никогда не считалось зазорным.

Выданный бизнесменом аванс позволил пополнить опустевшие полки лабораторного шкафчика для чаепитий. Сотрудники, разомлевшие от нежданного кофе с пирожными из «Севера», халтуру коллеги встретили с энтузиазмом.

Странности начались в день прибытия абитуриентов.

Для начала, на ботаников они были совсем не похожи. Один, здоровенный детина в кожаной куртке, больше походил на боксера-неудачника: коротко стриженный, с перебитым носом, обладал словарным запасом питекантропа, чем слегка озадачил наставницу. Второй выглядел попрличней, но тоже не очень ботанически: лобастый крепыш в спортивном костюме, с чуть кроличьей физиономией из-за крупных передних зубов. Хотя против кроликов она ничего не имела.

Она выдала юношам служебные пропуска и повела по оранжереям. Хвойные и папоротники оставили их равнодушными. Орхидеи, камелии и аукарии мало их интересовали. Ни инжир, ни олива не пробудили в них искры внимания.

И только в субтропиках Северной и Южной Америки изрядно вспотевшие подопечные оживились.

Любимые старшим научным сотрудником суккуленты вызвали и у них живой интерес. Они впитывали каждое слово об исполинских цереусах Калифорнии, о записках Колумба, о выносливости исконных обитателей пустынь.

Наставница, наконец, увидела, что ее работа делается не зря. Слова о кактусах упали в благодатную почву.

– Разошлась, она короче, оттаяла: нечасто, понимаешь, у молодежи такой интерес можно встретить, – Боцман подмигнул.

Шаги за дверь: мелкий дробный топоток, затем – тихое шарканье.

– Идет, – Боцман понизил голос, ближе придвинулся к Николаю, – потише теперь, ага? Слушай дальше.

Короче, дискуссия с молодыми ботаниками переместилась в кабинет наставницы и затянулась допоздна.

То была блестящая лекция. Увидев, что подопечные маются, позволила им закурить. Что греха таить: и сама позволяла себе такую вольность в лаборатории.

К хорошим сигаретам у «боксера» обнаружилась фляжечка с коньяком, и беседа потекла совсем уж непринужденно: из Калифорнии переместились в Мексику, к странным и таинственным обрядам индейцев племени Гуичол, обсудили цветение *Ariocarpus fissuratus*, от *Lophophora Williamsii*, пейотля, логически перешли к трансцендентным опытам Кастанеды...

Конечно, экзотика увлекла пытливых ботаников. Особенно – мескалиновые кактусы.

Они обсудили их лечебные свойства – от лихорадки до артрита, углубились в галлюциногенные.

Тут молодые люди буквально засыпали ее вопросами...

Разошлись за полночь, очень довольные друг другом. На прощанье ученики выразили ей искреннее восхищение.

Наутро у ворот ее поджидала машина. Молодой бизнесмен встретил старшего научного сотрудника и пригласил поговорить с глазу на глаз.

– Уж о чем они перетирали, как говорится, история умалчивает, но наша специалистка по кактусам послала деятеля куда подальше. Вежливо, разумеется...

Бизнесмен исчез. Ученики не появились. День потек, как обычно. А вечером, возвращаясь домой, она обнаружила у подъезда странное оживление. И соседки, завидев ее, принялись причитать.

Окна квартиры зияли выбитыми стеклами. Диванчик на кухне выгорел дотла, пахло гарью и сырыми тряпками. К счастью, ее питомец, кролик, остался цел. Она нашла его за открытой дверью чулана.

На следующий день абитуриенты ждали ее, как ни в чем не бывало.

Она встретила их, поводила по оранжереям, исчерпывающе ответила на все вопросы, на этот раз узкоспециализированные, сводящиеся к технологии выращивания пейотля в Ленинградских широтах. Проигнорировала перемигивания учеников:

– Золотая бабка стала!..

А на прощание напоила обоих крепким, ароматным чаем с душистыми травами.

После чего простилась, оставив подопечных в лаборатории, зашла расписаться за скудную ботаническую зарплату, сдала на вахту ключ от подотчетных помещений, и, махнув на прощанье, скрылась на остановке автобуса №66.

– Такая, понимаешь, история, – сказал Боцман.

– А дальше? – спросил Николай.

– А дальше...

Боцман умел держать паузы.

– В общем, больше нашего научного сотрудника никто не видел. На третий день ее хватились, да как-то не сильно искали, потому что и без нее в Ботаническом саду было нескучно...

На следующий день с утра по оранжерее субтропиков повели школьную экскурсию.

Экскурсовод не сразу заметила, что среди пальм, кактусов и драцен-переростков в экспозиции появился новый, неожиданный экспонат.

В кадке с *Трахикарпус Форчуна*, обхватив ствол и свесив ноги, сидел молодой, коротко стриженный парень в спортивном костюме с совершенно пустыми глазами.

Приглядевшись, экскурсовод обнаружила, что зрачки у него разного размера: один – с булавочную головку, другой, наоборот, почти закрывает радужку.

Молодой человек улыбался счастливой улыбкой и ни на просьбы, ни на увещевания оставить в покое пальму не реагировал. Фактически, ни единого звука не удалось добиться от него сотрудникам оранжереи.

Ближе к вечеру на Карповке наряд задержал другого молодого человека, сидевшего нагишом на парапете. Ни одежды, ни документов при нем не было.

Был он крепок телом и скуден духом: удил рыбу посредством спущенного в воду на длинном шнурке ботинка.

Милицейский наряд встретил приветливо, и разный размер зрачков – один с булавочную головку, другой – целиком закрывавший радужку – неприятно поразил работников правопорядка.

– Такая вот вышла история, – сказал Боцман. – Такая вот тетушка Борджиа...

– А как она сюда-то попала?

– Как-как. Богата земля русская партизанами. У крестного своего спроси при случае.

В кают-компанию заглянула широкоскулая рожа:

– Там фонариком с берега кто-то светит. Ильич-ата в гости не собирался?..

– Легок на помине, – Боцман поднялся, – поглядим, что там за нездоровое оживление, возня и гам.

Женихи и опалы

Санкт-Петербург, 1907, весна

Как увидела Нора кольцо у дамочки, так и онемела. Опал!

Крупный, чуть неправильной формы, в оправе из крохотных камушков, опал был изумительный. Сам дымчато-шоколадный, а в глубине – оранжевая искра.

Опал... и звучит-то как музыка, как последний вздох схимника. Чудо чудесное! Опал так притягивал Норочкин взгляд, что на клиентку она и не посмотрела.

Гостья же устроилась в кресле; вздрогнула, встретившись взглядом с одним из портретов. Нора молчала.

Молчание было таким же инструментом медиума, как и хрустальный шар, закатывание глаз и низкий голос, коим возвещала мадемуазель свои пророчества.

У дамочки отметила разве что платье, дымчато-серого шелка, с премилой вышивкой – будто бы васильки, но цвет не синий, а скорее, беж, и кружавчики в тон по юбке, как бы вдоль, чтобы стройнило. Воротничок кружевной махонький, строгий, но такой пикантный... Норе бы пошло.

Руки у гостьи были крупные, полноватые, с длинными пальцами – подходящие для ношения опалов. Взгляд опять притянулся к камню. Опаал...

Кабы за свою почти тридцатилетнюю жизнь прочитала Нора хотя бы одну толстую книгу вместо привычных бульварных листков, возможно, глядя на камень, вспомнила бы древнего бога Озириса, плывущего по Нилу в саркофаге, запечатанном дымчатыми опалами. Слушай Норочка Вагнера, узнала бы о норнах, прозревающих в сем камне гибель богов, и поразила бы сходству имен – Нора и норны...

Будь среди ее знакомцев историк, тот поведал бы ей о суровом Одине, который превращался в зверей и птиц, используя магию камня, рассказал бы о короне императора Константина и других чудесных вещах, но увы: не было у Норы таких знакомых. И всем книгам мира предпочитала она газету под чашечку шоколада, да еще альбом, хранящий то сокровенное, чему и названия нет...

Впрочем, одну толстую книгу Норочка все-таки купила в лавке на Лиговском. Прочесть не смогла; хотя не для чтения и покупала. Смекалка и ножницы позволили ей получить от покупки неожиданный толк.

Треск. Брань извозчиков в открытом окне – на улице два экипажа сцепились оглоблями. У гостьи порозовели ушки. Непривычная к народному разговору.

Сквозь сизый дым папироски Нора разглядывала визитершу.

Ничего особенного. Молодая, личико свежее. Соболиные брови и румянец во всю щеку – прямо Настенька из «Аленького цветочка». Недурна, но простовата: губки пухлые, носик вздернут – еще чуть-чуть, и станет курносая. Подбородок тяжеловат; пара-тройка лет, и под ним появится второй, мякотький. А миленькая округлость щек затвердеет и станет трястись, когда супруг сделает что-то не по ее воле. Крепкую талию затянет жирок, изящная нынче корма едва ли поместится в кресло, исчезнет легкость походки и станет мадемуазель, как давешний дирижабль с вуалью, переваливаться – шлеп да шлеп...

И зачем этакой курице опал? Ей бы замуж... ага, вот и цель визита раскрылась. А что, если, к примеру, на одну чашу весов замужество возложить, а на другую – опал? Может выйти недурно...

Пожалуй, начнем.

– Дитя мое, – обратилась Нора к клиентке, – откройте мне свое сердце.

– Мне о вас рассказал Жо... ой! – осеклась дамочка, – один человек. Я и запомнила, потому что он так меня хорошо понимает. Будто душой. Но я боюсь, что он просто по-дружески. Вдруг он не любит? А есть еще тот, другой. Нет, тоже хороший, но...

Она беспомощно подняла глаза: голубые, навывкате.

Уж не базедова ли болезнь у нее? Нора смотрела на клиентку сквозь дым и не спешила с ответом. Чем больше сама скажет, тем лучше.

– У меня жених... то есть два. То есть, я не знаю, жених или нет. Матушка считает, что нет, а другой, напротив... Но он же мне ничего не сказал! Нет, так все запутается. Есть один. Его зовут...

– Имена духам не нужны, – вставила Нора.

– Тогда я не знаю, как и рассказывать, – подбородок у гостьи задрожал, – а если не расскажу, вы мне не поможете. И что тогда делать? Так все нескладно выходит...

– Словно бы кто-то сглазил, – гладко ввернула Нора и с удовольствием отметила, как испугано клиентка вскинула коровьи ресницы.

– Дитя мое, – пробасила она. – Не бойтесь. Здесь вам помогут. А сейчас... вот один жених у вас, первый. Про него расскажите.

Девушка задумалась.

– Ну, как жених. Очень уж он нерешительный. Мы не помолвлены даже. И про любовь он не говорит – все больше про разное... умное. Я однажды прямо его спросила – вы меня любите? А он стал рассказывать про какого-то грека... или не грека? Я и думаю: что же я, сама вот так спрашиваю? Неприлично. Нет, он милый. И смотрит... но какой-то путанный.

– Будто печать молчания на устах, – заметила Нора. – Будто запечатано кем-то. Или чем-то, – она выделила последнее слово.

Девушка закивала.

– А другой?

– Другой... он тоже не жених, – барышня покраснела, – он друг того, первого. Он недавно приехал. Говорит, ради друга. Только и говорит, что о нем, то есть о первом, который так уж меня любит, так любит, да боится признаться. И этот, второй, он такой... благородный. За товарища печется. А тот-то, первый, уже две недели, как не показывается... а я и рада. Потому что другой – он так меня понимает...

Страсти какие, подумала Нора. У этакой-то буренки. Надо же, два жениха. И кольцо с опалом.

Самое время явится духам и намекнуть, что все ее беды – от камня заклятого. Будет дальше носить – старой девой останется. Напугать до икоты... избавить страдальицу от злого камня...

– Он так меня понимает. И потешный, умеет развеселить...

Нора уже запуталась, о каком из женихов идет речь.

– А однажды он посмотрел... с намеком будто. Я и думаю: может, он не смеет открыться? Как верный друг? А я, бывало, не сплю, и все думаю, думаю...

К делу, решила Нора. Пора показать клиентке всю пагубную силу опала. Прошла к столу, где на черном бархате покоился хрустальный шар. Девица продолжала рассуждать:

– Может, открыться ему? Но разве же можно? А он недавно сказал...

Нора уже взяла в руки шар и приготовилась к общению с духами, кои убедят дамочку в пагубной силе кольца, и тут клиентка закончила:

– «Любовь есть начало и конец бытия»...

– Что? – пальцы разжались, хрустальный шар выпал из рук и медленно, неохотно покати́лся по столу.

– «Любовь есть начало и конец бытия», – повторила девица. – Это он так сказал. Может быть, вы знаете, почему?..

Ухмыляющаяся, усатая физиономия давешнего визитера встала перед глазами.

– Духи знают, – мрачно ответила Нора.

Плакал ее опал.

Клиентка ушла счастливая.

И Нора не прогадала: колечко-то осталось лежать на столе. Опал предстояло вернуть хозяйке «после проведения магических эманаций». Но неделю никто не помешает госпоже медиуму его носить, производя впечатление на клиентов.

Потому что простые чудеса Норе лучше прочего удавались.

Как девица на портреты тарасилась! Не зря мадемуазель Руль потратилась на итальянскую книгу. «Cesare Lombroso: L'Uomo delinquente». Книжник уж какие кренделя выписывал: и теория антропологии, и научный труд. А она, как зачарованная, на картинки смотрела: такие уроды, божечки, умереть же от ужаса можно. Сразу поняла: оно!

Взяла, не торгуясь. У столяра заказала с десятков рам, простых, деревянных, велела выкрасить в черный. Дома картинки из книги вырезала, в рамы вставила...

Не было среди гостей ни единого, чей взгляд к портретам бы не прилип. И никто не спросил, что за персоны – боялись.

Она такая: уж если увидит чудесное – непременно его разглядит.

Правда, и магическое реноме приходилось поддерживать – ноблесс оближ. Не зря старухи, обходя парадную, крестились и плевали через плечо.

Время от времени Нора чудила. Тут только начни – добрые люди тут же подхватят.

То притаскивала в комнаты дворового пса и кормила его монпансье, сокрушаясь, что старый друг пришел к ней в такой паскудной реинкарнации. То в ночи устраивала жильцам таинственный стук с помощью пары башмаков, которые ни на что другое уже не годились. Иногда записывала особо злобные пророчества и выбрасывала в окно.

Завелся поклонник – гимназист-шестиклассник. Торчал внизу, пламенный и золотушный, смотрел на окна, а однажды прислал записку, что талантом мамзель затмевает Черубину де Габриак.

Дворник сплетничал, что из ее окон вылетает по ночам синий ворон. Сам врал, от чистого сердца – исключительно из любви к искусству.

А одна горничная божилась, что мадемуазель Элеонора привидилась ей в зеркале, когда она маленькой барышне волосы расчесывала, да пригрозила за то, что неласково-де с крошкой обходится. Этот слух Норе гусыня с вуалью на хвосте принесла.

Дело шло: вести о «той даме из Гавани» расплзались по кумушкам. Клиенты сами ее находили. И вывеска работала.

Вспоминая, что едва не стала мадам Мякишевой и не завела толстеньких лысых младенцев, Норочка фыркала, не испытывая ни минуты сожаления. Зиночку Михельсон с ее банькой и купальским гаданием вспоминала с нежностью. Подруга последовала женской доле, выскочила замуж за какого-то ушастого кузнечика, ускакала за ним в Москву и там нарожала детишек – двух или трех подряд. Раз в полгода Нора ей слала открытки – на именины и рождество...

Госпожа медиум растопырила пальцы, чтобы полюбоваться желтой искрой в недрах камня. Опаал...

Его мерцание завораживало Нору, как сороку – мельхиоровая ложечка со стола, накрытого в саду к чаю.

Но клиентка-то какова! Прямо Настенька из сказки: глазки голубенькие, личико румяное, что твой калач, и сама не знает, чего хочет – то ли цветочек аленький, то ли замуж. И корольевич нашелся – мужчина хваткий, хотя, по Нориным меркам, слишком смазлив. Зачем ей опал? Он для женщины зрелой, не для юной наивной курочки.

Норе этой зимой минуло двадцать девять. И, как женщина опытная, выбор сказочной Настеньки она не одобряла.

Корольевич – это конечно, прекрасно, но Чудище – безмолвное, исполняющее все желания, было ничуть не хуже. С таким-то уродом любая почувствует себя красавицей – хоть ты косая, хоть кривоногая. И с глупостями всякими Чудище не пристаёт: не требует нарожать младенцев, не ждет горячих обедов, а лишь угождает всем твоим прихотям.

Нора не стала бы Чудище расколдовывать. За него бы и пошла, всемогущее и несчастное, вовек благодарное той, которая снизошла до лохматой шкуры. Такая самоотверженность дорого ценится, особенно, если при взгляде в зеркало остается только рычать да хвататься за голову.

Если уж замуж, то за такое вот Чудище: безобразное и богатое, осознающее пропасть, которая лежит между ним и Норочкой. Тьфу, то есть Настенькой.

Признаться, жила в ней надежда, что оно где-то рядом, поблизости, оглянись, и придет, заберет в прекрасный, полный изысканных вещей и забав, замок.

Но пока приходилось принять, что чудища на пороге у мадемуазель не толпились.

Хотя говорили, на курортах Кисловодска их пруд пруди. Значит, стоило ехать, но не робкой Настенькой, а дамой независимой и знающей себе цену. И без проволочек, ибо старость уже распростерла костлявые объятия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.